

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Классическая немецкая литература началась не так давно — с тех пор, как Мартину Лютеру в шестнадцатом веке удалось (своим переводом Библии, прежде всего) заложить основы национального литературного стиля. С тех пор каждое последующее столетие обретало своих классиков. Семнадцатый век — Гриммельсгаузена и Грифиуса, восемнадцатый — Гёте и Шиллера, девятнадцатый — романтиков и Гейне, двадцатый — Томаса Манна, Музиля, Рильке и Кафку. Франц Кафка занимает в этом списке особое место. По количеству изданий, исследований, рецензий, откликов, упоминаний он намного опережает всех своих современников. По всем этим показателям (как и по стоимости рукописей на международных аукционах) он уже приближается к Гёте, на которого всю жизнь взирал, как на Бога. Подобно тому как величественный лик олимпийца является чем-то вроде чеканной монеты в Веймаре, так и визионерский визаж Кафки стал в наши дни «брендом» пражских уличных торговцев сувенирами. Бесчисленные варианты портретов, открыток, кошельки, кружки, брелоки — отовсюду, со всех лотков, по всему городу преследует прохожего его словно уплывающее в астральность острое личико с оттопыренными ушами и пронзительными глазами визионера. Мог ли мечтать об этом живший здесь в начале XX века мелкий клерк, задавленный нуждой, неуверенностью в себе, неизбежным одиночеством, страхом перед жизнью?

Как ни странно — мог. Временами Кафка вдруг ясно осознавал, что пробился пером на ту высоту, с которой ему открылось больше, чем кому-либо из его коллег и даже великих предшественников. И тогда этот с виду жалкий раб возглашал голосом пророка: «Я есмь цель и начало». И это было не пустое самомнение графомана. Нет в литературе большего признания, чем восхищение самых авторитетных коллег. А еще при жизни Кафки куда более популярный и признанный в то время Герман Гессе называл его «тайным королем немецкой прозы». Со временем тайное стало явным. И слава, и влияние Кафки на протяжении десятилетий нарастали. Не счастье литературных знаменитостей XX века, которые в какой-то момент начинали писать «под Кафку», испытывая почти магическое обаяние его художественной манеры. Тут и Бек-кет, и Борхес, и Камю, и Канетти, и Роб-Грийе, и Бретон, и Арно Шмидт, и Мартин Вальзер, и Фриш с Дюрренматтом, и еще многие, многие...

Очевидно, Франц Кафка (1883–1924), этот мелкий клерк из пражского еврейского гетто, записывавший в основном по ночам поток своего отлитого в причудливые формы сновидческого сознания, оказался, как никто другой, созвучен недавно истекшему в конвульсиях и судорогах веку. Его дар впечатлял даже тех с виду царственных олимпийцев среди мастеров пера, кто, казалось бы, был бесконечно далек от его гнетущей и «адской» (как выразилась Наталья Трауберг) эстетики. Например — Анну Ахматову. Незадолго до своей кончины она успела прочесть основательный сборник австрийского писателя, впервые выпущенный (в 1965 году) на русском языке, и в разговоре с Лидией Чуковской так поведала о своем впечатлении от Кафки: «Когда читаешь, кажется, словно вас кто-то берет за руку и ведет обратно в ваши дурные сны».

Алогичная, сновидческая, бредово-абсурдистская проза Кафки во многом угадала и предсказала катаклизмы XX века. Перед лицом неправо судящей и казнящей невинных бюрократической машины, покрывшей полмира колючей проволокой концлагерей, человек и впрямь съезжился до размеров винтика или ничтожного насекомого. «Превращение», «Приговор», «В штрафной колонии», «Процесс», «Замок», другие произведения Кафки приобрели со временем завораживающий статус точных предсказаний. С точки зрения великих европейских традиций — христианской «любви к ближнему» или гуманистического, просветительского «прогресса» — мировая цивилизация в XX веке совершила падение в темную бездну человеконенавистничества и нигилизма. После Второй мировой войны Кафка явился из небытия полузабытости печальным Пророком. Его имя стало даже нарицательным — небывалый случай в мировой литературе. Какую немецкую газету теперь ни раскрой, непременно натолкнешься на слово «kafkaesk», «кафкианский» — оно вошло во все словари немецкого языка, и частотность употребления его высока чрезвычайно. Впечатление такое, что в языке от этого имени образовалось новое выразительное понятие. Что оно значит? А все то, что трудно выразить одним словом. «Мрачный», «странный», «отчаянный», «причудливый», «запутанный», «непонятный», «алогичный», «абсурдный», «из ряда вон выходящий»... Все эти смысловые оттенки возможного неблагополучия слились в одном слове — «кафкианский». К нашему времени это слово превратилось едва ли не в печать, если не штамп, большинства обозревателей событий и апокалиптических поползновений минувшего века.

Жутковатые видения, кошмарные порождения фантазии, пугающие метаморфозы сознания и даже плоти, бредовый алогизм происходящего и вечный невпазд намерений и осуществлений — все это, составившее самую ткань художественных произведений Кафки, оказалось слишком узнаваемо и по жизни. Сбывшиеся предсказания всегда придают написанному дополнительное мощное освещение. Вспомним хотя бы «Бесов» Достоевского, это грандиозное романное пророчество катастроф XX века.

У Кафки нет таких протяженных полотен. Тут скорее уж обрывки какие-то: галлюцинации, видения, сны. То почудится герою, что он превратился в насекомое, то привидится ему (и автору) замысловатая машина для казни, то доведет до отчаяния кошмар мелкой, неотступно жалящей бюрократической дрязги. Но во всей этой тошной муке тягомотины и кошмара — провидение подноготной тех самых социальных катастроф и срывов, которые превратили XX век во всемирную трагедию.

У самого Кафки, по-видимому, и впрямь был этот ясновидческий дар. Его неизменный спутник пражанин Яноух вспоминает, как они стояли однажды у окна, мимо которого протекали колонны первомайской демонстрации. Немного взглядевшись, писатель обратил внимание приятеля на невзрачных, озабоченных людей, сновавших вдоль шествия: там поправить ряды, тут ускорить движение... В этих неприметных уличных организаторах Кафка, по свидетельству Яноуха, увидел будущих всемогущих бюрократов и палачей, устроителей нелепейших судилищ, заливших невиданными потоками крови летопись человечества.

Загадочная догадливость Кафки и привела к тому, что именно в нем стали искать ключ к разрешению «проклятых» вопросов века многие выдающиеся мыслители — экзистенциалистского, психоаналитического, семиотического, религиозно-иудаистского и прочего, прочего толка. Ни один другой автор минувшего столетия не стал объектом столь разнообразных по методике интерпретаций, ни один не дал иллюстративную пищу столь разным школам. Тут и герменевтики, разгадывающие сугубо философские загадки кафковских притч, тут и приверженцы социальной психологии, осмысливающие его «штрафные колонии» как прообраз будущих концлагерей, толкующие его роман «Процесс» как провидение кроваво-фарсовых судилищ, а его роман «Замок» как символ всемогущей бюрократической диктатуры. Слишком часто в прошлом столетии человек оказывался в «кафковской», или «кафкианской», ситуации — то есть напрочь выбитым из

личного маршрута собственной биографии, без вины виноватым, погашенным в своей индивидуальной судьбе и воле, — чтобы к чисто «игровым», по видимости, построениям Кафки не добавилось со временем жутковатое обаяние мрачного пророчества.

Но Кафка оказался «в духе времени» и в другом, наиважнейшем для подлинной литературы, эстетическом измерении. Его поэтика, резко отличная от предшественников-натуралистов, по-своему авангардно влилась в художественные искания XX века. Его художественное слово обнаружило глубинную перекличку с общим поворотом западного искусства от фотографической точности и импрессионистической впечатлительности к ошеломляющим, вызывающим к архаике диспропорциям, с тем поворотом, которым отмечены искания экспрессионистов, примитивистов, сюрреалистов, «магических реалистов». От психологизма и иллюстративности к заклинаниям и магии — так можно обозначить этот резкий скачок. Если такие великие современники Кафки, как Томас Манн и Герман Гессе, явились завершителями психологизирующей, упивающейся сложной синтаксической нюансировкой манеры XIX века, то Кафка открыл совершенно новые возможности художественной экспрессии, повернув внешне простенькое, лишённое всякого украшения (но не лишённое своеобразной и завораживающей «тихой» музыки) слово к его доисторическим, древним корням и связям.

Интерес к новой работе со словом, к обыгрышу его архаических смыслов, был повсеместно распространён в европейском авангарде начала XX века («заумь» Хлебникова и дадаистов, «глоссология» Белого и Моргенштерна, «сказочки-сны» Ремизова и Дёблина), но Кафку — который сопоставим в этом отношении скорее с поэтами, чем с прозаиками, — выделяет какая-то особая внешняя непритязательность и прозрачность, первобытно наивная серьёзность, чурающаяся игривого самолюбования, столь свойственного непривычному словоупотреблению. Он не стилизует, он пишет с той забытой лапидарностью и простотой, будто и в самом деле живёт во времена пророков, пишет «на все времена». Этим он отличается и от своего непосредственного предшественника, старшего товарища по ремеслу — швейцарца Роберта Вальзера, все же упивавшегося подчас своим виртуозным артистизмом. (Кстати, ответ грандиозной мировой славы Кафки вернул на литературный Олимп и забытого на какое-то время Вальзера.)

Писать о Кафке и соблазнительно — раз уж такая магия имени и такой его резонанс, — и необыкновенно трудно. Внешняя канва его биографии крайне невзрачна. Достаточно тягостное по вине круглого самодура-отца детство в многодетной семье, казенная гимназия со всеми ее ущемлениями и невзгодами, постылый юрфак университета, не по своей воле выбранный, и потом ещё более постылая служебная лямка в страховом агентстве всю оставшуюся жизнь. Что ещё? — Литературная работа по ночам, с долгими перерывами на отчаяние. Вечные влюбленности и мечты о браке, так никогда и не реализовавшиеся. В последние семь лет жизни Кафки — туберкулезные санатории в разных точках Австро-Венгрии и Германии. Всякий раз — новые влюбленности и вслед затем потоки отчаянных писем своим псевдовозлюбленным, неуютно себя чувствующим в роли недостижимой мечты. Минимум реальных событий, максимум ускользающих и бесплотных грез. Никакой почти внешней биографии, одна только внутренняя нескончаемая борьба с самим собой и неподатливым, как всегда, материалом — словом.

Но писать об этой внутренней жизни Кафки легко — потому что он почти непрерывно фиксировал ее в дневниках и письмах. Недаром он так любил перечитывать дневники Марка Аврелия, Гецбеля, Амьеля, Ницше, письма Флобера, Достоевского, Гёте. Исповедь — основа его существа, наполненного, как он писал, литературой и страхом. Погасить свой «иудейский», как он сам его называл, страх ему удавалось только в словесных излияниях, бесконечно варьирующих нюансы собственных состояний. В дневниках и письмах не менее выпукло, чем в художественных вещах, проявлены корни своеобразного, особенного немецкого языка Кафки, предельно «чистого», почти стерильного, словно бы вымышленного. Это — особенность всего «немецкого острова» Праги того времени; на похожем языке писали и Майринк, и Верфель, и такие друзья Кафки, как Поллак, Баум и Брод. Его, Кафки, гений выразился, однако, в том, что только под его пером этот язык обрел небывалую силу завораживающей магии. И дело тут не только в эффектном контрасте между кошмарными видениями рассказчика и его прозрачным языком ажурнейшей вязи. Монстры воображения у Майринка тоже облечены в простые, суховато деловитые фразы, словно помещены под стеклянный колпак. Но язык Майринка стерт, а язык Кафки точен и по-древнему, архаичному, лапидарен — огромная разница!

Хотя слово «магия» Кафка очень не любил, считая его обманым достоянием всяческих декадентов-импрессионистов, всяких там «венских шарлатанов» типа модных в ту пору Альтенберга или Шницлера. А себя он считал регистратором-реалистом, разве что — вослед Достоевскому — «реалистом в высшем смысле», то есть провидящим за бытовыми реалиями просветы в вечность. Так что определение «магический реализм», нередко прикладываемое к Кафке, его бы покорило и возмутило. Однако он ведь и сам признавал, что всякое меткое слово — лишь метафора, пусть и не объясняющая сути, но указывающая путь к пониманию того, что нельзя выразить с точностью формулы.

Достоевский тут припомнился весьма кстати. Ведь Кафка, всю жизнь им зачитывавшийся, вникавший даже в подробности его жизни, и сам походит на какого-нибудь «подпольного человека» — типичного персонажа великого русского писателя. (Второй такой случай в немецкой литературе — конечно, Ницше. И Кафка, и Ницше — словно «внебрачные», то есть в чужом языке зачатые, порождения художественного гения Достоевского, унаследовавшие духовную генетику его героев.) Извивы изломанной психики могли бы занимать только узких специалистов, не будь пациент создателем завороживших весь мир шедевров литературы. Использование словесного творчества в качестве самотерапии может, конечно, осуществляться в любую эпоху. И все же чаще всего такие времена приходятся на сгибы истории, когда подобные явления приобретают массовый характер. Как правило, это происходит на рубеже столетий. Недаром, подыскивая аналогии «случаю Кафки», автор обращается к немецким романтикам, и в частности к Клейсту, покончившему с собой, прихватив на тот свет и свою возлюбленную, в возрасте тридцати четырех лет. Оба оставили в чем-то сходную прозу — «протоколно» сжатую, укротившую душевно-духовные смятения и бури в графически остром и точном письме. Клейст, пожалуй, наиболее явный предтеча Кафки. Он к тому же из той пятерки писателей, которых Кафка перечитывал всю свою жизнь. Четверо остальных — Гёте, Флобер, Гоголь и Достоевский.

Молодость Кафки пришлась на начало XX века. «Портрет художника в молодости» (название известной книги Джойса) обрел в его лице свои весьма показательные и выразительные черты. Аналогий припоминается множество — от Пруста и Валери до Роберта Вальзера и Рильке. Есть среди них и русские коллеги, конечно. Бродя по улочкам родной Праги в предсмертном своем 1923 году, Кафка мог сталкиваться с Мариной Цветаевой, например, — она приходила по воскресеньям в ту самую церковь Святого Георга, за которой простиралась крохотная Злата улочка, где Кафка устроил себе кабинет в квартирке младшей сестрицы Отлы. Вот уж кто понял бы и принял бы душевные катаклизмы Кафки как свои — если б только им довелось не проходить всякий раз мимо друг друга, а остановиться

и побеседовать! На лекциях Рудольфа Штайнера, которые Кафка посетил в Праге, он мог сидеть рядом с Алексеем Ремизовым — самым «кафкианским» русским писателем, сложившим свою сказово-остраненную манеру задолго до захватившей всю Европу «моды на Кафку».

Самое удивительное в истории искусства, может быть, в том и состоит, что некоторые по всем признакам близкие друг другу и значительные современники нередко остаются друг для друга неузнанными и лишь время выстраивает их в кружок вокруг определенных идей и тенденций. И кто-то из них становится эмблемой своей, единой для многих, эпохи. К слагаемым (посмертного!) успеха Кафки, несомненно, относятся предельно актуальные для современности — понятой широко, как «большое время» — тематические пристрастия писателя: власть, отчуждение, одиночество, несвобода, страх перед жизнью, конфликт поколений, не востребованность искусства. Трудно назвать сколько-нибудь состоявшегося, «классического» западноевропейского писателя первой половины XX века, который был бы совершенно чужд этой тематике. Но символом ее стал именно Кафка.

А в самом центре этого, «кафковского», сплетения злободневных понятий — пожалуй, абсурд, то есть до предела сгущенный гротеск, который позволяет острее и четче обрисовывать и все прочие мотивы. Например, порожденный современным отчуждением мотив одиночества человека. Только абсурдное «превращение» в насекомое позволяет Грегору Замзе, герою одноименной новеллы, до конца осознать всю бездну своего одиночества, весь трагизм своей обреченности. Абсурд смертного существования, по Кафке, прикрыт лишь иллюзиями насущности всякого рода житейских забот. Они, эти иллюзии, поддерживаются тем, что человек делает все, что ему вменено происхождением и обставлением, все, что «положено» делать в обыденной жизни, он живет как все. Стоит ему стать другим, не как все — и все эти иллюзии развеиваются как дым.

В самом протяженном (хотя и тоже очень небольшом по объему) романе Кафки «Замок» — другая абсурдная ситуация. Некий человек переезжает на новое место жительства и, хотя никто вроде бы не требует у него никаких документов, сам, добровольно, с упорством маньяка пытается отыскать некую инстанцию, которая разрешила бы ему проживание — «зарегистрировала» бы его. Жить естественно, как природа, человек не может себе позволить. Несвобода настолько вкоренена в человека, что он сам ищет себе оковы, ищет Инстанцию, которая бы мучила его волокитой и унижением. Такую Инстанцию герой обретает в Замке. Под Замком можно разуть и какой-нибудь Кремль, но можно — и какой-нибудь простенький загс. Русскому (естественному по самой натуре своей!) человеку, как мало какому другому в мире, довелось и доводится хлебнуть горюшка от незримо ядовитого Замка-загса. Неслучайно, может быть, так популярен у нас Кафка.

Построенные по принципу сновидений картины Кафки переполнены ужасами: тут постоянно кого-то преследуют, кому-то угрожают, измываются, калечат, пытаются друг друга, колют, режут, сжигают в печи. Однако все эти картины далеки от натурализма массовой литературы — и тем самым от «эстетики безобразного», укоренившейся в модернизме и особенно постмодернизме. В своем словесном явлении тексты Кафки по-своему совершенны и поэтому — по древнему принципу «катарсиса» — достигают преобразования уродливой правды в прекрасные формы, дарующие читателю избавительное «облегчение» (а в этом и есть смысл древнегреческого «катарсиса»). Особое совершенство созданий Кафки в том, что они воздействуют не только на разум или доступные расхожим психологическим шлудиям чувства, но и на какое-то неведомое или давно забытое тайновидческое чутье, глубоко зарытое в каждой, пусть и наисовременнейшей душе.

Как и всякое состоявшееся художество, проза Кафки представляет собой тончайшим образом устроенный универсум, в котором есть все — от «праздного» волшебства музыкально согласованных словесных сочетаний до житейски полезных поучений, от «ума холодных наблюдений» до «сердца горестных замет». И все же доминанта этого мира — та особая, по-сновидчески завораживающая магия, в которой очертания знакомого мира предстают иными, смещенными, непривычными. В этих смещениях и «остранениях» обещаны новые, неведомые смыслы реальности. И, как уже говорилось, они-то и усиливают общий эффект сбывшихся предсказаний.

Самый поразительный эффект художественного письма Кафки в том, что все его чудовищные гротески написаны простым и ясным, безмятежным по ритму, «объективно» регистрирующим, «протокольным» слогом. Чудища словно бы заключены в стеклянные сосуды, как в некоей словесной кунсткамере. К тому же от большинства из них остались только обрубки, только фрагменты.

Все это относится, кстати говоря, не только к его художественной прозе, но и к дневникам и письмам, которые практически не вычленимы из общего литературного наследия Кафки. В конце концов, и вся литература, как заметил однажды сам писатель, есть не что иное, как «дневник нации». И все же редко у кого все эти жанры достигают такого единства: проза, дневники, письма Кафки — как единый поток, который несет этого человека по жизни, поддерживая его до поры до времени на плаву. Недаром сам Кафка писал, что он весь состоит из литературы.

Есть у него и другая крылатая автохарактеристика: «Страх — основа моего существования». Страх, самоспасающийся письмом; письмо, преисполненное страха. Разросшийся, клубящийся, насыщаемый упорной иудаистской памятью страх, вобравшее в себя каббалистические и талмудические бездны письмо. Кафка много размышлял о своем еврействе, ни у кого из писателей (кроме разве его венского ровесника Отто Вейнингера) мы не найдем такого национального самообнажения. Он то ненавидел свой «иудейский страх» и готов был проклинать все еврейское, то восхищался мудростью и жизненной цепкостью праотцев и склонялся к сионизму, который основал другой его ровесник и единоплеменник Теодор Герцль.

Итак, какой аспект его личности или мировоззрения ни взять — всюду эта двойственность, эта амбивалентность. Нет характера, нет мыслителя и нет писателя более скользкого, ускользающего. Так он всю жизнь ускользал от женитьб, хотя к ним страстно стремился: «Иметь человека, который понимал бы тебя, жену например, — это значило бы иметь опору во всем, все равно что иметь Бога».

Однако реальное счастье для самого Кафки, как и для его героев, невозможно, потому что идея безмерна, а ее воплощение узко. «Я не завидую отдельным супружеским парам, я завидую только всем супружеским парам вообще, а если я и завидую какой-то одной супружеской паре, то я, собственно говоря, завидую всему супружескому счастью во всем его бесконечном многообразии; счастье одного-единственного супружества даже в самом благоприятном случае, наверное, привело бы меня в отчаяние». Такой вот — типично, насквозь кафковский — пассаж.

«Ты хотел жениться» и в то же время не хотел жениться», — констатирует отец Кафки в передаче собственного сына (знаменитое письмо отцу). В этом «хотел и в то же время не хотел» — весь Кафка. «Ненавижу самоанализ», — пишет он — и занимается самоанализом до самоедства. «Сломлен ли я? Гибну ли я?» — с такими вопросами он обращен к себе постоянно. Внятного ответа на них нет. «Да, сломлен, да, гибну», — кричит все существо Кафки. «Нет, не сломлен, нет, жив», — вторит ему другой внутренний голос обнадеживающим контрапунктом. Эта раздвоенность — в крови и каждого персонажа Кафки.

Безусловно прав поэтому писатель Макс Брод, друг и душеприказчик, не ставший сжигать рукописи Кафки вопреки его завещанию. Он не стал выполнять волю Кафки, потому что никакой воли у Кафки не было. «Ты хотел сжечь рукописи и не хотел сжигать их», — мог бы сказать он своему другу. В конце концов, завещание написано, судя по всему, в 1922 году, то есть за два года до смерти. За это время Кафка и сам мог бы сжечь все, что считал необходимым. Сжег ведь вторую часть «Мертвых душ» Гоголь — один из учителей и предтеч, тот, кто и Кафку накрыл своей «Шинелью» (а может быть, еще плотнее — «Записками сумасшедшего»). А Кафке и хотелось повторить это писательское самоубийство и не хотелось, боязно было его повторять.

Россия, кстати, постоянно занимала и как-то притягивала к себе Кафку. «Безграничная притягательная сила России», — обмолвился он как-то в своем дневнике. Нередко упоминается Россия и в новеллах («Приговор»), и в письмах. Русские писатели — те из иностранных, кого Кафка читает всего чаще. Вчитывается и в их биографии, в письмах к друзьям и возлюбленным нередко пересказывает те или иные эпизоды из жизни своих любимцев — Гоголя и Достоевского. Но воспринимает он все сугубо по-своему, на свой мрачный кафковский лад. Достаточно вспомнить знаменитую сцену писательского дебюта Достоевского, когда к нему среди ночи вторглись Некрасов с Григоровичем, чтобы выразить свой восторг по поводу только что прочитанных «Бедных людей». Захлестнувшее Достоевского счастье Кафка оставляет без всякого внимания, из сложной гаммы чувств, переполнивших юного писателя, он выделяет — изымает, раздувает, смакует — одно: самоунижение. Достоевский, глядя вслед удаляющимся друзьям, одарившим его своими восторженными похвалами, думает, по Кафке, будто бы исключительно о том, как он жалок и низок и не достоин их.

Примерно так же смещенно воспринимает Кафка и немецких писателей — особенно дорогих его сердцу Клейста и Гёте. Он даже замышляет работу «Об ужасном у Гёте», стремясь выискать привычную для себя тональность и у прославленного «солнечного» олимпийца. Понятно, что подобные высказывания и состояния мысли характеризуют самого Кафку больше, чем тех, о ком он размышляет. Выбирая себе среди предшественников друзей («Он помог мне как друг», — писал он о датчанине Кьеркегоре), Кафка наделяет их свойствами собственной натуры. Впрочем, не так ли поступает и всякий писатель — да и всякий читатель? Что-то важное для себя отыщет, несомненно, и всякий читатель предлагаемого издания Кафки, в которое вошел новый перевод «Созерцания» (рассказ Кафка посвятил своему другу Макс Броду), «Письма к Макс Броду» и никогда не издававшееся на русском языке эссе Макса Брода «О личности Кафки». Весь сборник — это литературный памятник дружбы двух писателей, одному из которых, Макс Броду, судьба уготовила роль душеприказчика своего великого друга. Только благодаря Макс Броду мы и знаем Кафку в том объеме, которым располагаем.

Юрий Архипов

## БИБЛИОГРАФИЯ

Издания Франца Кафки

Франц Кафка — один из двух (наряду с Томасом Манном) авторов С. Фишера, обеспечивших процветание этого издательства. Наиболее известное и распространенное, с многократными допечатками, издание Фишера было осуществлено в семи томах:

Kafka, Franz. Gesammelte Werke in 7 Bd. Hrsg. von Max Brod. Frankfurt am Main, Fischer Verlag, 1976.

Там же с 1982 года выходит полное историко-критическое издание Кафки (в трех томах вышел — со всеми вариантами — роман «Пропавший без вести», в трех — роман «Процесс» и т. д.)

Там же отдельным изданием вышли все письма Кафки, которые пока удалось выявить:

Kafka, Franz. Briefe 1902–1924. Fischer Verlag, 1975.

Там же под одной обложкой вышли три книги душеприказчика и друга Кафки Макса Брода — одна биография и два опыта интерпретации:

Brod, Max. Über Franz Kafka. Fischer Verlag, 1974.

Эта книга имеется и в русском, хотя и сокращенном, переводе:

Брод Макс. Франц Кафка, узник абсолюта. М.: Центрполиграф, 2003.

Наиболее полное издание Кафки на русском языке:

Кафка Ф. Сочинения: В 3 т. М.: Художественная литература; Харьков: Фолио, 1995.

Роман «Замок» выходил в серии «Литературные памятники» (М.: Наука, 1994).

Имеется на русском и отдельное издание дневников и писем Кафки:

Кафка Ф. Дневники и письма. М.: ДиДик, 1995.

Литература о жизни и творчестве писателя

Затонский Д. В. Франц Кафка и проблемы модернизма. 2-е изд., испр. М.: Высшая школа, 1972.

## ПИСЬМА К МАКСУ БРОДУ

[1903 или 1904]{1}

Дорогой Макс,

меня вчера не было на лекции, поэтому мне кажется необходимым написать тебе, чтобы объяснить, почему я не пошел с вами на бал-маскарад, хотя, кажется, и обещал.

Прости, я хотел доставить себе удовольствие и свести вас на один вечер с Пржибрамом[1], потому что мне представилось, каким острым наблюдателем покажешь себя в этой ситуации ты — ведь ты это умеешь — и как он проявит свою способность к трезвому взгляду на вещи, которая ему свойственна почти во всем, кроме искусства, а все вместе сложится в славную картину.

Но, думая так, я не учел, в какой компании, маленькой компании, ты оказался. На первый посторонний взгляд, она для тебя не благоприятна. Потому что отчасти она от тебя зависит, отчасти самостоятельна. В той мере, в какой она от тебя зависит, она готова вторить тебе, как чуткое эхо в горах. Слушатель бывает сбит с толку. Глаза его только еще пробуют что-то разглядеть впереди, а в это время его бьют по спине. Удовольствие оказывается невелико, особенно если ты недостаточно проворен.

Но если все самостоятельны, это для тебя еще хуже, потому что ты перестаешь из-за них быть собой, оказываешься не на своем месте, сам же себя опровергаешь перед слушателями, чему благоприятствует случай, если друзья последовательны. Дружественная масса помогает только при революциях, когда все действуют разом и без затей, но, если речь идет о маленьком заговоре за столом при скудном освещении, они его сорвут. Дело вот в чем. Ты хочешь разыграть нечто на фоне своей декорации «Утренний пейзаж» и ставишь ее в качестве задника, но твоим друзьям кажется, что для данного момента больше подошло бы «Волчье логово», и они ставят по бокам от тебя в качестве кулис твое же «Волчье логово». Конечно, и то и другое рисовал ты, зритель это понимает, но какие странные тени на лугу, где у тебя утренний пейзаж, и к тому же омерзительного вида птицы летают над полем. Вот, мне кажется, как обстоит дело. Редко, но все-таки иногда случается (я в этом еще не совсем разобрался), ты говоришь: «У Флобера, понимаешь ли, существенны лишь факты, без всякого сюсюканья». Но в каком ужасном виде я бы тебя представил, если бы при случае изобразил это таким образом. Ты говоришь: «Как прекрасен Вертер». А я говорю: «Но честно сказать, там порядочно всякого сюсюканья». Это замечание смехотворно и неприятно, но я говорю это как друг, я не желаю тебе ничего плохого, я хочу только показать слушателю твой взгляд на подобные вещи. Ибо часто признаком дружбы считается то, что ты не даешь себе труда додумать до конца, что стоит за словами друга. А слушатель тем временем грустит и чувствует себя утомленным.

Я написал это, потому что мне было бы грустнее, если б ты мне не простил, что я провел вечер не с тобой, чем если ты не простишь мне это письмо.

Всего самого доброго.

Твой Франц К.

Подожди, не откладывая это письмо, я перечел его еще раз и вижу, что оно не совсем ясно. Я хотел написать: то, что кажется тебе таким неслыханным счастьем, а именно возможность позволить себе минуту усталости, расслабленности и при этом допустить, чтобы единомышленник повел тебя туда, куда кому-то хотелось, без всяких усилий с твоей стороны, именно это проявляет тебя в данной типичной истории — вот что я имел в виду в случае с П. — не совсем таким, как мне хотелось бы.

Теперь все.

[Прага, 28 августа (ск. 1904) ск.]

Легко быть веселым, когда лето только начинается. Сердце в груди стучит, дела идут сносно, и с будущим ты в ладу. Ждешь каких-нибудь восточных чудес, а потом с забавным поклоном и в косноязычных выражениях от них же отказываешься, эта живая игра бывает приятной и волнующей. Постель в беспорядке, ты сидишь на кровати и смотришь на часы. Стрелки приближаются к полудню. Но нам рисуется вечер, в приглушенных тонах, вокруг широкие просторы. И мы потираем руки, радуясь, что у нас такая длинная, такая прекрасная тень, которая бывает по вечерам. Мы украшаем себя, надеясь в глубине души, что украшение станет частью нашего естества. А на вопрос о жизненных планах мы весной отвечаем обычно широким жестом руки, но тут же ее опускаем, давая понять, до чего смешно и не нужно объяснять то, что само собой разумеется.

И если даже нас ждет разочарование, это, конечно, может нас огорчить, но чувство все-таки останется такое, будто исполнилась наша каждодневная молитва и нашей жизни как бы милостиво позволено идти своим чередом.

Но разочарование нам не грозит. Это время года, у которого есть лишь конец, но нет начала, приводит нас в состояние, такое необычное для нас и такое естественное, что оно могло бы оказаться смертельным.

Вольный ветер буквально несет нас куда хочет, а мы, уносимые этим воздушным потоком, не без смешных ужимок хватаемся за голову или, вцепившись в колени кончиками тонких пальцев, что-то бормочем вслух в надежде успокоить себя. Если обычно у нас, в общем-то, хватает такта, чтобы ничего о себе не выяснять, теперь мы настолько ослабели, что начинаем искать ясности — разумеется, как будто просто так, в шутку, как старательно ловят маленьких детей, которые убегают от нас медленными маленькими шажками. Мы лезем куда-то, как кроты, и вот, совершенно черные, с бархатной шерсткой, вылезаем из своих осыпавшихся песчаных нор, высунув вверх свои бедные красные лапки, вызывающие нежную жалость.

Как-то во время прогулки моя собака поймала крота, который хотел перебежать дорогу. Она то насакивала на него, то снова отпускала,

Потому что она еще молодая и нервная. Вначале это меня забавляло, особенно нравилось мне возбуждение крота, который отчаянно и безнадежно искал, куда бы зарыться на утоптанной дороге. Но вдруг, когда собака опять протянула к нему лапу и ударила, он закричал. Он закричал: кс, ксс. И мне показалось... Нет, мне ничего не показалось. Просто что-то случилось с головой, она в тот день была у меня такой тяжелой, что вечером, как я с удивлением заметил, подбородок буквально прирос к груди. Но на следующий день я уже опять держал свою голову вполне прямо. А еще на другой день одна девочка надела белое платье и потом влюбилась в меня. Бедняжка очень от этого страдала, и утешить ее мне не удалось, такой трудный оказался случай. В один из следующих дней я проснулся после краткого послеполуденного сна, открыл глаза, еще не вполне уверенный в своем существовании, и услышал, как моя мать обычным тоном спрашивает с балкона: «Что вы делаете?» И какая-то женщина ответила из сада: «Я полдничаю на траве». Тут я удивился, как стойко люди умеют переносить жизнь. В один из следующих дней я с болезненным напряжением радовался волнениям сумрачного дня. Потом была одна пустая неделя, а может, две или еще больше. Потом я влюбился в одну женщину. Потом в трактире были танцы, а я на них не пошел. Потом я тосковал и так поглупел, что спотыкался на полевых дорогах, которые здесь довольно круты. А однажды прочел в дневниках Байрона вот какое место (я изложу его приблизительно, так как книга уже упакована): «Неделю я не выходил из дома. Три дня я по четыре часа ежедневно занимаюсь боксом с преподавателем фехтования в библиотеке при открытых окнах, чтобы успокоиться душой». А потом... лето кончилось, и я обнаружил, что оно было холодное, что пришла пора отвечать на летние письма, что мое перо немного проскальзывает и что лучше его поэтому отложить.

Твой Франц К.

[1904]

Я было удивился, что ты не написал мне о Тонию Крёгере. Но потом сказал себе так: «Он ведь знает, как мне хочется получить от него письмо, и о Тонию Крёгере что-то надо сказать. Так что он мне, видимо, написал, но мало ли что могло случиться — ливень, землетрясение, письмо затерялось». И тут же сам на себя рассердился за то, что подумал так, потому что писать настроения не было, а теперь приходилось отвечать на письмо, которого ты, может быть, не писал, и, чертыхаясь, я начал так:

Получив твое письмо, я не знал, как поступить, пойти ли к тебе лично или послать цветы. Но не стал делать ни того, ни другого, отчасти из-за лени, отчасти потому, что боялся натворить глупостей, к тому же я немного не в духе и мрачен, как дождливый день.

Но твое письмо подействовало на меня благотворно. Я ведь считаю высокомерным, когда кто-то излагает передо мной нечто вроде истины. Значит, он меня поучает, унижает, ждет, что я возьму на себя труд его оспаривать, сам при этом ничем не рискуя, потому что свою истину он ведь считает неопровержимой. Когда излагаешь перед кем-нибудь свои предрассудки, это может звучать церемонно, безрассудно и трогательно, но еще трогательней, когда начинаешь их обосновывать, причем обосновываешь опять же другими предрассудками.

Ты наверняка отметил в своем письме и сходство с твоим рассказом «Экскурсия в темно-красное»[2]. Но я о таком широком сходстве подумал еще раньше, до того как снова прочитал «Тонию Крёгера». Ведь новизна «Тонию Крёгера» не в том, что он открыл это противопоставление (слава Богу, что мне теперь не надо об этом противопоставлении думать, в нем есть что-то ужасное), а в странно-плодотворной (поэт в «Экскурсии») влюбленности в противоположность.

Если мое предположение, что ты написал на эту тему, верно, тогда я не понимаю, почему твое письмо в целом такое взвинченное, как будто задышающееся. (Может, ты мне просто таким запомнился в воскресенье утром.) Прощу тебя, дай себе немного покоя.

Да, да, хорошо, что и это письмо затеряется.

Твой Франц К.

За два дня я все позабыл.

[Прага], 12.2.1907

Дорогой Макс,

хочется написать тебе прежде, чем я лягу спать; еще только четыре часа.

Вчера я прочел «Современность»[3], правда, в беспокойной обстановке, потому что находился в компании, а напечатанное в «Современности» должно было быть сказано на ухо.

Что ж, это карнавал, прямо-таки карнавал, но приятнейший... Ладно, будем считать, что я этой зимой сделал некое танцевальное па.

Особенно мне было приятно, что мало кто мог понять, почему именно в этом месте оказалось необходимо упомянуть мое имя. Ведь тогда читателю нужно было бы вернуться снова к первому абзацу и обратить внимание на место, где говорится о счастье фразы. Тогда бы он обнаружил: группа имен, завершаемая именем Майринка (как будто свернулся клубком еж), не могла возникнуть в начале фразы, если хочешь, чтобы и следующие дышали. Значит, вставленное сюда имя с открытой гласной в конце спасает этим словам жизнь. Моя заслуга тут невелика.

Печально лишь — я знаю, ты этого не хотел, — что теперь, когда я с чем-либо выступлю, это будет выглядеть непристойно, ведь нежность первого выступления так уязвима. И никогда мне не сравняться по силе действия с тем, что сделал для моего имени ты своими словами.

Впрочем, сегодня об этом всерьез говорить не приходится, я скорее мог бы утвердиться вне круга, в котором стал известен сейчас, ведь я славное дитя и любитель географии. На Германию мне, по-моему, особенно рассчитывать не приходится. Многие ли здесь читают критические статьи, не ослабляя внимания до последней фразы? Какая тут известность. Другое дело — немцы за границей, скажем, в

балтийских областях, а еще лучше в Америке или даже в германских колониях, ведь где-нибудь в глуши немец читает свой журнал от корки до корки. Так что центрами моей известности окажутся Дар-эс-Салам, Уджиджи, Виндхук. Но чтобы зря не волновать этих людей с таким живым интересом (прекрасно: фермеры, солдаты), тебе следовало бы написать в скобках: «Эти имена стоит забыть».

Целую тебя, сдавай поскорей экзамен.

Твой Франц

[Триш, середина августа 1907]

Мой дорогой Макс,

когда вчера вечером я вернулся домой с прогулки (было весело, весело), твое письмо уже ожидало меня и привело в замешательство, хоть я и устал. Ведь я привык к нерешительности, ни к чему другому я так не привык, но, если я для чего-то потребовался, я уже лечу, совершенно без сил, одновременно желая и сомневаясь в тысяче мелочей; против решимости мира мне не устоять. Поэтому я даже не буду пытаться переубедить тебя.

У нас с тобой совершенно разные обстоятельства, так что не имеет никакого значения, если, дойдя до слов «решил о себе не думать», я не смог дальше читать от страха, как будто это было сообщение с поля битвы. Но, как всегда, меня и в этом случае скоро успокоила мысль, как бесконечно много, черт возьми, в каждой вещи и недостатков, и преимуществ.

Я подумал: тебе нужна бурная деятельность, в этом смысле твои потребности мне ясны, хотя и непонятны; уже год, как тебе уже недостаточно просто гулять по лесу, и разве не ясно в конце концов, что за год работы в городском суде ты найдешь свое место в литературе и все остальное станет неважно.

Правда, я-то побежал бы в Комотау как сумасшедший, правда, мне-то никакая деятельность не нужна, тем более что я к ней не способен, и если меня тоже, допустим, перестанет удовлетворять лес, то я — это ясно — за год работы в суде ничего не сделал.

И потом, когда втянешься в дело, сил уже не остается, в часы работы — а их ведь всего шесть — я бы только без конца позорился, это тебе, судя по твоему письму, все теперь кажется возможным, если ты считаешь, что я способен на что-то подобное!

Другое дело — служба, а вечером утешение. Да, если бы утешения было уже достаточно для счастья и не требовалось бы еще и быть немножечко счастливым от природы.

Нет, если до октября у меня не появится более радужных перспектив, я закончу курс в Торговой академии и вдобавок к французскому и английскому выучу еще и испанский. Хорошо, если бы ты захотел составить мне компанию; твое превосходство в учебе я бы компенсировал нетерпением; мой дядя нашел бы нам должность в Испании, или бы мы поехали в Южную Америку, или на Азорские острова, на Мадейру.

А пока я еще до 25 августа могу жить здесь. Я много езжу на мотоцикле, много купаюсь, подолгу лежу голый в траве на берегу пруда, до полуночи я в парке с девушкой, которая докучает мне своей влюбленностью, я уже ворошил на лугу сено, соорудил карусель, помогал после грозы деревьям, пас коров и коз, а вечером пригонял их домой, много играл в бильярд, совершал далекие прогулки, пил много пива, побывал уже и в храме. Но большую часть времени — а я здесь шесть дней — я провел с двумя молоденькими девушками, студентками, очень смышленными, очень социал-демократичными, им приходилось прямо-таки стискивать зубы, чтобы не изрекать по любому поводу какой-нибудь лозунг, какой-нибудь принцип. Одну зовут А., другую Х. В., она маленькая, щечки у нее красные-красные; близорука, и это сказывается не только в милом движении, каким она водружает пенсне на нос — кончик его поистине прелестно как бы составлен из крошечных плоскостей; сегодня ночью мне снились ее короткие толстые ноги, такими вот окольными путями я познаю девичью красоту и влюбляюсь. Завтра я хочу прочесть им вслух что-нибудь из «Экспериментов»[4], это единственная книга, кроме Стендаля и «Опалов»[5], которую я у себя держу.

Да, были бы у меня «Аметисты», я бы списал для тебя стихи, но они у меня дома, в ящике с книгами, а ключ от него я взял с собой, чтобы никто не обнаружил сберкнижку, о которой дома не знают и которая важна для моего положения в семье. Так что если у тебя до 25 августа не найдется времени, я пришлю тебе ключ.

А теперь мне остается только поблагодарить тебя, мой бедный мальчик, за усилия, которые ты приложил, чтобы убедить издателя в достоинствах моего рисунка[6].

Жарко, а после обеда я иду в лес на танцы.

Передавай от меня привет своей семье.

Твой Франц

[Далее следуют переписанные стихи Макса Брода][7].

[Открытка, Прага, шлемпель 28.VIII.1907]

Мой дорогой Макс,

так нехорошо, неправильно, что ты мне не пишешь, как дела в Комотау[8], но раз ты меня спрашиваешь, как дела у меня, как я провел лето... Вид Рудных гор, наверно, красив, не говоря уже о зеленой скатерти на столе, и я бы рад тебя навестить, если бы поездка стоила не так дорого.

Что тебе встретился человек, у которого такое почерк как у меня когда-то, вполне может быть, только теперь я пишу по-другому и, лишь когда пишу тебе, вспоминаю о былом движении моих букв. Не приедешь ли ты в воскресенье? Я был бы рад.

Твой Франц К.

[Прага], 22.9.1907

Мой дорогой Макс,

такие вот дела. Другие люди то и дело принимают решения, а потом вкушают их плоды. Я же принимаю решения все время, как боксер, но при этом не боксирую. Да, я остаюсь в Праге. Вероятно, скоро я получу здесь должность (ничего особенного) и, лишь чтобы не раздражать провидение, у которого много своих дел, не написал тебе об этом конкретнее и не делаю этого сейчас.

Рад за тебя.

Твой Франц

[Открытка, Прага, штемпель 26.X.1907]

Дорогой Макс,

я могу приехать не раньше половины одиннадцатого или в одиннадцать, потому что тут хотят увидеть мое тело[9]. Поскольку теперь почти нет сомнения, что мне суждено быть несчастным, в несчастье смеюсь над самим собой, то на тело мое смотрят лишь ради бескорыстнейшего удовольствия.

Твой Франц

[Прага, вероятно, май 1908]

Теперь у тебя, дорогой Макс, две книги и один камешек. Я всегда старался подыскать к твоему дню рождения что-нибудь такое нейтральное, что нельзя бы уже ни изменить, ни потерять, ни испортить, ни забыть. Думал я над этим не один месяц — и каждый раз не мог придумать ничего другого, кроме как опять прислать тебе книгу. Но с книгами ведь беда, они, с одной стороны, нейтральны, а с другой — интерес к ним потом опять возрастает, и я тянусь к чему-то нейтральному, верный лишь убеждению, вообще-то не такому для меня важному, а в конце концов обнаруживаю в руках у себя книгу, прямо-таки жгуче интересную. Однажды я даже нарочно забыл про твой день рождения, это было лучше, чем посылать книгу, но все-таки нехорошо. Поэтому теперь я посылаю тебе камешек и буду присылать еще, покуда мы оба живы. Положишь его в карман, он будет тебе защитой, положишь в ящик стола, тоже на что-нибудь сгодится, а можешь его и выбросить — это будет лучше всего. Ведь ты знаешь, Макс, моя любовь к тебе больше меня самого, и скорее я живу в ней, чем она во мне, ей не так уж хорошо в моем ненадежном существе, так вот — в камушке она укроется, как в скале, даже если он окажется всего лишь в расщелине мостовой на Шаленгассе[10]. Эта любовь с давних пор не раз спасала меня, чаще, нежели ты думаешь, и именно сейчас, когда я меньше, чем когда бы то ни было, способен в себе разобрататься, лишь в полусне чувствую себя в полном сознании, это лишь кажется легко, и то лишь пока — ведь внутренности у меня словно почернели, — вот тут как раз и хорошо бросить в мир такой камень, чтобы надежное отделилось от ненадежного. Что по сравнению с этим книги! Книга начинает казаться тебе скучной и уже не перестает, или ее разорвет твой ребенок, или, как книга Вальзера, она распадется, когда ты ее получишь. С камнем же, наоборот, ты не соскучишься, камень не может погибнуть, а если погибнет, то когда-нибудь в будущем, и забыть о нем ты тоже не можешь, потому что ведь и помнить о нем не обязывался; наконец, ты никогда не можешь его окончательно потерять, потому что на первой же хорошей гравийной дороге найдешь его снова, это будет как раз первый хороший камень. И даже повредить ему похвалой я не могу, ведь похвала вредит лишь тогда, когда расплющивает хвалимого, портит его или смущает. А камешек? Словом, я нашел для тебя ко дню рождения наилучший подарок и вместе с ним шлю тебе свой поцелуй, который вряд ли способен выразить, как я благодарен тебе за то, что ты существуешь.

Твой Франц

[Прага, сентябрь 1908]

Мой дорогой Макс,

уже половина первого ночи, время, прямо сказать, необычное для писания писем, даже если ночь такая теплая, как сегодня. Ночные мотыльки и те не летят на огонь.

После счастливых восьми дней в Богемском лесу — бабочки там летают высоко, как у нас ласточки, — я уже четыре дня в Праге и чувствую себя таким беспомощным. Я всем в тягость, и мне все, причем второе вытекает из первого, только твоя книга, которую я как раз сейчас начинаю читать, радует меня. Таким беспричинно несчастным я себя еще не чувствовал. Я ее читаю, мне есть за что держаться, хоть это от несчастья и не избавляет, обычно же я настолько нуждаюсь в ком-то, кто хотя бы дружески ко мне прикоснулся, что вчера был в гостинице с проституткой. Она слишком стара, чтобы еще сохранить меланхоличность, ей только жаль — хотя это ее и не удивляет, — что к проституткам относятся не так хорошо, как к любовницам. Я ее не утешил, ведь и она не утешила меня.

[Прага, середина апреля 1909]

Мой дорогой Макс,

да, вчера вечером я прийти не смог. В нашей семье идет настоящая война, моему отцу стало хуже, дедушка в магазине упал в обморок.



Сегодня, когда начало смеркаться, то есть около шести, я читал у окна «Камни, не люди»[11]. Это чтение довольно лестным для чувств образом уводит из области человеческого, тут нет греха и нет скачка, есть открытый, хотя и не широкий, уход, каждый шаг которого обосновывается. Кажется, стоит только обнять крепче эти стихи, и больше ничего не нужно, одна лишь радость от объятия реальной, чем сама реальность, и эта радость уведет тебя от всех бед.

Вчера мы обсуждали один рассказ Гамсуна, я говорил про человека, который садится рядом перед гостиницей на дрожки, но суть была не в этом. Главное там, как мужчина сидит за столом в каком-то ресторане с девушкой, в которую он влюблен. И в том же ресторане за другим столом оказывается молодой человек, который тоже любит эту девушку. Каким-то хитрым способом мужчина приглашает молодого человека к своему столу. Молодой человек садится рядом с девушкой, мужчина встает, во всяком случае спустя какое-то время; кажется, он держится при этом за спинку кресла и говорит как можно искреннее: «Господа... мне очень жаль... вы, фройляйн Элизабет, сегодня меня опять совершенно очаровали, но я уже вижу, что вы не достанетесь мне... для меня это загадка». Вот в этом самом месте, последней фразой рассказ на глазах читателя сам себя разрушает, или, во всяком случае, смысл его меркнет, нет, мельчает, удаляется, так что читатель, чтобы совсем его не утратить, должен начать самую настоящую осаду.

Если тебе нехорошо, напиши мне сразу.

Твой Франц

[Прага, начало июля 1909]

Мой дорогой Макс,

пишу наспех, потому что меня клонит ко сну. Меня клонит ко сну! Я не знаю, чем занимался мгновение назад, и чем буду заниматься мгновение спустя, и чем занимаюсь уже сейчас, я уже ничего не знаю. Я четверть часа развязывал узелки какого-то окружного управления и тотчас с внезапной лихостью смел в сторону папку с делами, которую долго искал и которая мне была нужна, а я в ней так и не разобрался. А на кресле громоздится этих дел такая куча, что, как я ни таращу глаза, не могу охватить ее всю одним взором.

Но твой Добржиховиц[12]. Это ведь действительно что-то новое. Вот что способно породить твое чувство. Разве что первый абзац уже, пожалуй, не очень-то соответствует времени. «Все благоухает» и т. д. — тут ты уходишь в глубь истории, которой пока нет. «Тишина величественной местности»... и т. д., этого дружья в рассказе, я думаю, не говорили, хоть их разорви, они этого не говорили. «Вилпы этой ночи».

А дальше все хорошо и правдиво, чувствуешь, как наступает ночь. Больше всего мне понравилось: «Он поискал еще камешек, но не нашел. Мы спешили.» — и т. д.

Роман, который я тебе дал, — это, как я вижу, мое проклятие; а что поделаешь. Если некоторых страниц не хватает, а я это знал, все равно не беда и лучше, чем если бы я его разорвал. Будь все-таки благоразумен. Эта дамочка еще ничего не доказывает. Пока она ощущает твою руку на бедрах, спине или затылке, ей сгоряча либо все сразу очень понравится, либо нет, смотря по обстоятельствам. Какое это имеет значение по сравнению с хорошо мне известной сердцевинной романа, который я в самые тягостные часы ощущаю где-то внутри себя. И хватит об этом, тут мы друг друга можем понять.

Кажется, я рад бы вечно писать и писать, лишь бы не требовалось работать. Но это ведь мне не позволено.

Франц

[Прага, штемпель 15. VII.1909]

Дражайший Макс,

не то чтобы это само по себе требовало безотлагательного разговора, но все-таки тут будет и ответ на твой вопрос, ответ, для которого вчерашней дороги не хватило. (Уже не вчерашней, сейчас четверть третьего ночи.) Ты говоришь, она любит меня. Откуда ты это взял? В шутку это было или всерьез, но спросонья? Она любит меня, и ей не приходит в голову поинтересоваться, с кем я был в Стеховицах, чем это я занимаюсь, почему я на неделе не смог пойти на прогулку и т. д. Может, в баре было мало времени, но на прогулке хватало и времени, и чего угодно, и все же ее устраивал любой ответ. Кажется, все можно оспорить, но одного оспорить нельзя и лучше даже не пытаться: в Д. я боялся встретить Вельча и сказал ей про это, тогда она тоже стала бояться, бояться встречи с Вельчем из-за меня. В результате вырисовывается простая геометрическая схема. По отношению ко мне имеется полнейшая расположенность, абсолютно никуда дальше не ведущая и одинаково далекая как от самой большой, так и от самой малой любви, потому что она есть нечто другое. Мне в эту схему вмещиваться не надо, пусть она остается ясной.

Теперь я вполне заслужил право поспать.

Твой Франц

[Прага, штемпель 5.I.1910]

Мой дорогой Макс

(пишу на службе, где на десять строчек десять раз испугаешься, но ничего), в тот раз я подумал так: кто принимает роман[13] — а его новизна и величие должны ослепить, то есть омрачить, многих, — кто принимает твой роман, а принимать — в данном случае значит воспринять его со всей любовью, на которую человек способен, — кто принимает твой роман, тот должен постоянно и все сильнее ожидать решения, обещанного в читанной тобой половине главы. Только ему покажется, что это решение поджидает его в стороне самой опасной — опасной не для романа, а лишь для его, читателя, блаженной связи с ним — и что он теперь, вне всяких сомнений, найдет это

решение, как раз на той крайней границе, где роман еще сохраняет свою власть над ним, да ведь и читатель держится за то, от чего не хотел бы против собственной воли отказаться. Однако мысль о предполагаемом решении, на которое, впрочем, ты, проникший в роман изнутри, имел бы право, все-таки заранее его пугает. Неплохо, если впоследствии роман сравнят с готическим собором, это будет неплохое сравнение — разумеется, при условии, что для каждого места диалектически развивающейся главы можно будет указать место в других главах, на которое опирается эта первая, и как именно оно несет нагрузку, производимую первой. Мой дорогой Макс, какой ты счастливiec, причем именно в конечном счете, а благодаря тебе и мы.

Твой Франц

Я хотел написать еще о Миладе[14], но боюсь.

[Прага, 15–17 декабря 1910]

Мой дорогой Макс,

чтобы не возвращаться больше к разговору об этой неделе, я повторяю вначале еще раз то, что ты уже знаешь, дабы сразу ввести тебя в курс всех дел. На этой неделе все для меня складывалось так хорошо, как никогда прежде не позволяли мне обстоятельства и, по всей видимости, вряд ли еще позволят. Я был в Берлине, теперь вернулся в обычное окружение и почувствовал себя так свободно, что мог бы, если б был к этому склонен, вести себя совершенно по-скотски. Восемь дней у меня были совершенно свободны. Лишь вчера вечером я начал со страхом думать о своей службе, причем с таким страхом, что мне хотелось спрятаться под стол. Но я не отношусь к этому всерьез, страх этот важен не сам по себе. С родителями, которые теперь в здравии и довольстве, я почти совсем не ссорюсь. Лишь когда отец видит меня за письменным столом поздно вечером, он сердится, потому что считает, что я слишком стараюсь. Чувствую я себя лучше, чем несколько месяцев назад, во всяком случае, чем в начале недели. Зелень усваивается так хорошо и спокойно, что кажется, будто само счастье балует меня всю эту неделю. Дома у нас было почти совсем тихо. Свадьба[15] прошла, теперь переваривают нового родственника. Девушка, жившая под нами и то и дело брэнчавшая на фортепьяно, уезжает, видимо, на несколько недель. И вся эта благодать была мне дарована именно теперь, под конец осени, то есть в пору, когда я обычно чувствовал себя особенно хорошо.

17. XII

Позавчерашняя надгробная речь еще не закончена. С точки зрения таковой теперь ко всем несчастьям добавляется еще и то прискорбное обстоятельство, что мне, видимо, не по силам выдержать в течение нескольких дней вполне понятное чувство печали. Нет, это мне не по силам. Теперь, после восьми свободных дней, мне порой в суматохе чувств кажется, будто я лечу. Я просто опьянен собой, что в такую пору не очень и удивительно, хотя напиток легчайший. При всем том изменилось за эти два дня мало, а если что и изменилось, то к худшему. Мой отец неважно себя чувствует, он дома. Едва замолкает шум завтрака, начинается обеденный шум, все двери теперь открыты, как будто проломлены стены. А главное, нигде не исчезло средоточие всех несчастий. Я не могу писать; я не создал ни единой строки, от которой бы не хотел отказаться, наоборот, я зачеркнул все, написанное после Парижа, — впрочем, там и было немного. Все мое существо противится любым словам, каждое слово оглядывается по сторонам, прежде чем удастся его записать; фразы буквально разрушают меня, я вижу их внутренности и вынужден тогда поскорее кончать.

Кусок новеллы, который здесь прилагается, я переписал позавчера и этим сейчас решил ограничиться. Он уже старый и наверняка не безупречный, но первоначальным целям рассказа служит вполне.

Сегодня вечером я еще не приду, мне хочется до последнего момента, до утра понедельника, побыть одному. Это моя мечта, это еще одна радость, от которой меня бросает в жар, и радость, несмотря ни на что, здоровая, ибо она будит во мне общее беспокойство, из которого рождается единственно возможное равновесие. Если бы так пошло дальше, я мог бы посмотреть в глаза любому (как ты помнишь, смотреть в глаза тебе перед поездкой в Берлин и даже в Париже я не мог). Ты это заметил. Я так люблю тебя, а в глаза тебе смотреть не мог. Я все лезу со своими историями, а у тебя наверняка хватает своих забот; как бы получить завтра на службе открытку от тебя про все твои дела? И твою сестру я еще не поздравил. Я сделаю это в понедельник.

Твой Франц

[Санаторий Эрленбах, Швейцария, 17 сентября 1911]

Мой дорогой Макс,

если ты, требуя от меня, чтобы я непременно писал здесь рассказы, просто не вполне представлял себе, что такое санаторий, то я, обещая тебе писать, как-то, видимо, забыл хорошо мне известный образ санаторской жизни. Ибо день здесь заполнен процедурами, такими как ванны, массаж, гимнастика и т. д., а также предпроцедурным и после-процедурным отдыхом. Прием пищи, впрочем, не отнимает много времени, ведь яблочный мусс, картофельное пюре, протертые овощи, фруктовые соки и т. п. можно проглотить очень быстро, при желании совсем незаметно, а если очень хочется, то и с большим удовольствием, немного повозиться приходится лишь с грубозернистым хлебом, омлетом, пудингом, особенно же с орехами. Зато вечера, особенно сейчас, когда льют дожди, провожу в компании, иногда с прослушиванием граммофона, причем дамы и господа, как в цюрихском монастыре, сидят отдельно, и, когда звучат шумные песни, вроде марша социалистов, раструб граммофона больше повернут к господам, когда же начинаются пьесы нежные или требующие особенно точного восприятия, господа перемещаются на дамскую сторону, чтобы потом снова вернуться или, бывает, остаться там навсегда, а иногда (чтобы проверить, не противоречит ли эта фраза грамматике, переверни лист), к моему великому удовольствию, затрубит трубочка из Берлина, или какой-нибудь нетвердо стоящий на ногах господин, спустившийся с гор, начнет читать пьесу на диалекте — не Розеггера, а Ахлейтнера[16], — или, наконец, некий милый человек, никого не щадя, вздумает доложить вслух юмористический роман в стихах собственного сочинения, причем у меня по старой привычке на глазах выступают слезы. Ты, конечно, можешь сказать, что я в таких развлечениях не обязан участвовать. Но это не так. Ибо, во-первых, я должен хоть как-то выразить признательность за относительно успешный ход лечения (представь себе, я еще вечером в Париже принял средство, а уже сегодня на

третий день все в порядке), а во-вторых, здесь уже так мало отдыхающих, что, по крайней мере нарочно, не затеряешься. И с освещением здесь плоховато, просто не представляю, где я мог бы спокойно писать, даже для этого письма приходится напрягать зрение.

Конечно, если меня по-настоящему потянет писать, как впервые за долгое время случилось однажды в Штресе, где я себя чувствовал как кулак, сжатый так крепко, что ногти вонзаются в мясо — иначе я не могу это выразить, — тогда мне, конечно, ничто бы не помешало. Достаточно было бы просто уклониться от процедур, сразу после еды откланяться, как какой-нибудь страшный нелюдим, на которого уже все оглядываются, уйти к себе в комнату, подвинуть кресло к столу и писать при свете ввинченной высоко под потолком слабой лампочки.

Если теперь считать, что, на твой взгляд — я не хочу сказать, по твоему примеру, — для того чтобы писать, достаточно простого желания, тогда ты, разумеется, в конечном счете совершенно прав, предъявляя ко мне свои требования, неважно, знаешь ли ты, что такое санаторий, или нет, и, как бы я ни старался себя оправдать, причина действительно во мне самом, или, лучше сказать, все сводится к небольшой разнице во взглядах или к большой разнице в способностях. Впрочем, пока только вечер воскресенья, то есть мне остается еще дня полтора, хотя часы здесь, в читальне, где я теперь наконец уединился, стучат как-то необычно быстро.

Как бы там ни было, пребывание здесь пошло мне на пользу еще в одном отношении, кроме здоровья. Здешняя публика — преимущественно старые швейцарские дамы из средних слоев, то есть из числа людей, у которых особенно нежно, едва-едва проступают этнографические особенности. Констатировав их, надо уже не упускать их из виду. Я не понимаю их немецкого, но это, пожалуй, даже помогает наблюдать их, потому что благодаря этому они представляются гораздо более сплоченной группой. В таких случаях видишь больше, чем из окна вагона, хотя разница не так уж существенна. Короче говоря, в своих суждениях о Швейцарии я пока предпочел бы держаться не столько Келлера или Вальзера, сколько Мейера.

Для твоей военной статьи я в Париже списал заглавие одной книги вместе с издательской рекламой: «Colonel Arthur Boucher: „La France victorieuse dans la guerre du demain“. L'auteur ancien chef des operations demontre que si la France etait attaquée elle saurait se defendre avec la certitude absolue de la victoire»{2}. Я списывал это перед витриной книжного магазина на бульваре Сен-Дени, чувствуя себя германским литературным шпионом. Может, тебе пригодится. Если тебе твой филателист не дороже, чем мне мой, сохрани, пожалуйста, для меня конверт.

Твой Франц

[Письмо-секретка, Прага, штемпель 7.V.1912]

Дорогой Макс,

твоя книга[17] очень меня порадовала, еще вчера вечером, когда я листал ее дома. Почти что видишь благословенную поездку по железной дороге, о которой ты рассказал. Ты боялся, что она слишком спокойна, но она полна жизни, не утихающей, я бы сказал, ни днем, ни ночью. Как все одно за другим сходится к Арнольду и от него же опять расходится, все живет без малейшего намека на постороннюю музыку. Это, конечно, обобщение, одновременно примыкающее к «Смерти мертвецам!»[18]. Я целую тебя.

Твой Франц

Юнгборн, 10 июля 1912

Мой дорогой Макс,

твое письмо прямо-таки пылает у меня в руках от радости, поэтому отвечаю сразу. Твое стихотворение украсит отныне мою хижину, и, проснувшись ночью, что случается часто, потому что я еще не привык к шорохам травы, деревьев, воздуха, я буду его читать при свече. Возможно, когда-нибудь дойдет и до того, что я стану декламировать его наизусть, это меня возвысит, пусть даже только внутренне, когда я останусь непризнанным, на бобах. В нем есть чистота (лишь «тяжелые грозди» в двух строках оказываются необязательным излишеством, надо бы поправить), но, кроме того, и это главное, ты предназначил его для меня, не правда ли, можешь быть, подарить его мне, даже не станешь печатать, ведь знаешь, для меня в этом мире нет ничего важнее союза, о котором я больше всего мечтал.

Славный, умный, дельный Ровольт! Уходи, Макс, уходи от Юнкера, уноси от него все или хотя бы как можно больше. Он тебя удерживал, не думая о тебе, в это я не верю, так что ты на правильном пути, это судьба. Шрифт клейстовских анекдотов совершенно подходит, этот сухой шрифт сделает еще слышней шум «Высоты чувств»[19].

Ты не пишешь ни о «Ежегоднике»[20], ни о «Биллинге»[21], «Понятие»[22] Ровольт берет бесплатно? Мне, конечно, приятно, что он думает о моей книге, но писать ему отсюда? Не знаю, что бы я ему написал.

Если служба тебе немного докучает, это ничего, на то она и существует, ничего другого от нее желать нельзя. Зато можно пожелать, чтобы уже в ближайшее время явился Ровольт или кто-нибудь другой и вытащил тебя с твоей службы. Но только потом надо, чтобы он оставил тебя в Праге и чтобы ты хотел остаться! Здесь уже хорошо, но я ни на что не способен и грущу. Конечно, это когда-нибудь кончится, я знаю. Роман[23] так велик, как будто я размахнулся писать по всему небу (такому же бесцветному и неясному, как сегодня) и, начав писать первую же фразу, тут же запутался. Но я уже понял, что, как бы безнадежно ни было уже написанное, пугаться не надо, и этот опыт вчера мне очень помог.

Зато мой дом доставляет мне удовольствие. Пол все время устан травмами, которые я приношу. Вчера перед сном мне даже чудились женские голоса. Если не знать звука босых ног, шлепающих по траве, то, когда лежишь в постели и мимо пробегает человек, можно подумать, что это буйвол, который за ним гонится. Никак не могу научиться косить.

Будь здоров и привет всем.

Твой Франц

[Юнгборг в Гарце, июль 1912]

Мой дражайший Макс!

Помучившись, я решил прекратить. Нет больше сил, и в ближайшее время я вряд ли буду в состоянии улучшить оставшуюся шуковину[24]. Сейчас я этого не могу, но, несомненно, смогу когда-нибудь, в более благоприятные времена, и неужели ты действительно хочешь мне посоветовать — почему, хотел бы я знать, — чтобы я в ясном уме разрешил напечатать что-нибудь плохое, что мне потом будет неприятно, как те два разговора в «Гиперионе»[25]. Того, что пока переписано на пишущей машинке, для книги, наверное, недостаточно, однако невозможность напечататься и даже более досадные вещи немногим хуже этого проклятого самопринуждения. В этих пьесах есть несколько мест, насчет которых я хотел бы посоветоваться с десятком тысяч людей, но, если я их придержу, мне никто не нужен, кроме тебя и меня, и я доволен. Признай, что я прав! Эта необходимость все время писать и думать уже и так мешает мне все время и без нужды мучит. Оставить плохие вещи окончательно плохими можно лишь на смертном одре. Скажи мне, что я прав или, по крайней мере, что ты на меня не в обиде; тогда я с чистой совестью и спокойный в отношении тебя снова смогу приняться за что-нибудь другое.

Твой Франц

[Юнгборн], 22.VII.1912

Мой дражайший Макс,

опять мы будем играть в обиженных детей? Один показывает на другого и твердит старую считалку. Твое мнение о себе в данный момент определяется философским настроением; когда я плохо думаю о себе — это не просто плохое мнение. В этом мнении, пожалуй, мое единственное достояние, это то, что уже основательно вписано в ход моей жизни и в чем мне никогда, никогда не приходилось сомневаться, оно вносит в мое существование порядок и делает меня, готового рухнуть перед всякой неясностью, человеком в принципе спокойным. Мы все-таки достаточно близки друг другу, чтобы понять, на чем основывается мнение другого. Какие-то частности мне и впрямь удалось, и я радовался этому больше, чем даже тебе показалось бы обоснованным, — иначе я давно уже бросил бы перо? Я никогда не был человеком, который рвется к чему-то любой ценой. Но тут именно так. То, что я написал, написано в тепловатой ванной; вечного ада, знакомого истинному писателю, я не испытал, за несколькими исключениями, которые можно и не считать, хоть они, может быть, и безмерно сильны, но все-таки редки и слабо проявлены.

Я пишу и теперь, впрочем, очень мало; сам себя кляню, но и радуюсь тоже; так молятся Богу благочестивые женщины, только в библейских историях к Богу приходят иначе. Ты должен понять, Макс, почему я еще долго не смогу тебе показать того, что сейчас пишу, как бы мне этого ни хотелось. Мелкие вещи больше проработаны вширь, чем вглубь, надо еще долго продвигаться вперед, пока будет очерчен желанный круг, к тому же на той стадии работы, к которой я сейчас приближаюсь, все будет не легче, более вероятно, что я, и прежде-то неуверенный, тогда вовсе потеряю голову. Поэтому надо сначала окончить первый вариант, тогда будет видно, о чем стоит говорить.

Разве ты не отдал «Ковчег» в перепечатку? Не пришлешь ли мне экземпляр? И почему ты не говоришь, как получилось?

Вельч все еще лежит? Он совсем заброшен! А я ему все не пишу и не пишу. Пожалуйста, скажи все-таки фройляйн Т. и Вельчу, а если можно, и Баумишам, что я их всех люблю и что любовь никак не связана с писанием писем. Скажи им это так, чтобы прозвучало приятней и порадовало больше, чем три взаправдашних письма. Ты ведь умеешь, когда захочешь.

Что до нашего совместного рассказа[26], меня, помимо некоторых деталей, радовала только возможность сидеть рядом с тобой по воскресеньям (приступы отчаяния, конечно, не в счет), и ради этой радости я был бы готов хоть сейчас продолжить работу. Но у тебя есть дела поважней, даже если говорить только об одном «Улиссе».

У меня нет никакого организаторского таланта, и поэтому я не могу найти название для ежегодника. Не забывай, однако, что в таких делах нейтральное или плохое название под влиянием каких-то, пожалуй, не поддающихся учету отношений с действительностью может звучать наилучшим образом.

Не отговаривай меня от общения! Я ведь приехал сюда еще и ради людей и доволен, что по крайней мере в этом не обманулся. Ведь что у меня за жизнь в Праге! Потребность в людях, которая мне свойственна и которая оборачивается страхом, едва дело доходит до ее осуществления, удовлетворяется только во время отпуска; конечно, я изменился. Кстати, ты неверно понял, какое у меня расписание, до 8 часов я пишу немного, а после 8 и вовсе не пишу, хотя в это время я всего свободней. Об этом я бы рассказал побольше, если бы не провел как раз сегодняшний день особенно глупо, за игрой в мяч и в карты, да еще сидел и лежал в саду. И на экскурсии совсем не хочу! Существует вполне реальная опасность, что я даже не увижу Брокена. Знал бы ты, как быстро летит время! Если б оно хоть утекало заметно, как вода, а оно утекает, как масло.

В субботу после обеда я отсюда уезжаю (но очень был бы рад до тех пор получить от тебя открытку), воскресенье пробуду в Дрездене и вечером буду в Праге. Лишь из-за слабости, которую можно предвидеть заранее, я не поеду через Веймар. Я получил от нее небольшое письмо с собственноручным приветом от матери и тремя приложенными фотографиями. На всех трех она в разных позах, причем фотографии несравненно четче прежних, и как она хороша! А я еду в Дрезден, как будто так нужно, и буду смотреть зоологический сад, в котором меня как раз и не хватает!

Франц

Знаешь, Макс, песню «Так будь здоров...»? Мы сегодня утром ее пели, и я записал слова. Текст надо для себя сохранить! Это сама чистота, и как все просто; каждая строфа состоит из одного восклицания и одного кивка.

Вот еще одна забытая страничка о поездке.

[Прага, 8 октября 1912]

Мой дражайший Макс!

Мне хорошо поработалось ночью с воскресенья на понедельник — я мог бы писать всю ночь напролет и еще день и ночь и унести наконец далеко, — а сегодня бы мне тоже наверняка хорошо писалось; одна страница — собственно, лишь выдох после вчерашних десяти — даже готова, но я должен все бросить, и вот по какой причине: мой зять, фабрикант, отправляется сегодня в деловую поездку, дней на десять-четырнадцать, что я в своей счастливой рассеянности совсем упустил из виду. На это время фабрика действительно будет оставлена на одного мастера, и ни один кредитор, даже если он не такой нервный, как мой отец, не будет сомневаться, что теперь на фабрике начнется сплошное мошенничество. Впрочем, я думаю так же, хотя во мне говорит не столько страх за деньги, сколько неосведомленность и беспокойная совесть. Но хотя, в конце концов, и человек посторонний, насколько я могу себе его представить, может и не сомневаться в обоснованности страхов моего отца, не надо также забывать, что я в конечном счете совершенно не понимаю, почему немец-мастер и в отсутствие моего зятя, которого он на две головы превосходит и как специалист, и как организатор, не сможет поддержать обычный порядок, ведь все мы, в конце концов, люди, а не воры.

Теперь, кроме мастера, здесь будет находиться еще младший брат моего зятя, хотя и дурак во всех отношениях, кроме дела, да и в делах весьма ограничен, но при всем том порядочный, усердный, внимательный, этакий, я бы сказал, попрыгунчик. Однако ему, конечно, придется много бывать в конторе да, кроме того, руководить посредническим бюро, а для этого надо полдня бегать по городу, так что на фабрику ему остается мало времени.

Однажды не так давно я заявил тебе, что мне во время работы ничто постороннее помешать не может (что, конечно, было отнюдь не хвастовством, а лишь самоутешением), но стоит мне только представить, как мать чуть не каждый вечер хнычет, чтобы я опять и опять ради отцовского спокойствия заглядывал на фабрику, а отец со своей стороны взглядом или намеком говорит мне кое-что и похуже... Такие просьбы и упреки по большей части, допустим, и не совсем лишены смысла, потому что, когда за делом присматривает зять, это, конечно, идет на пользу и ему, и фабрике; но ведь я — и вот почему всякие речи абсолютно бессмысленны — даже в наилучшей своей форме на такой надзор не способен.

Но не об этом идет речь на ближайшие две недели, я на это время нужен в единственном качестве — как пара глаз, все равно чьих, пусть хоть моих, нужен, чтобы находиться на фабрике. И не возражишь, почему этого потребовали именно от меня, ведь все считают, что я больше всех виноват в создании этой фабрики, — наверно, так мне кажется, я взял на себя эту вину в полусне, — а кроме того, больше ходить туда некому, ведь родители, о которых, впрочем, и так говорить не приходится, как раз сейчас особенно заняты (их дело в новом ресторане, кажется, налаживается), и сегодня, например, мать даже не приходила домой обедать.

Так вот, когда сегодня вечером мать снова завела свою обычную песню и не только возложила на меня вину за огорчения и болезни отца, но добавила еще этот новый разговор насчет отъезда зятя и насчет того, что фабрика остается совсем без присмотра, и даже моя младшая сестра, которая обычно меня поддерживает, с чувством, которое в последнее время передалось от меня к ней, проявив чудовищное непонимание, покинула меня и стала на сторону матери, все мое тело вдруг пронзила горечь — не знаю, была ли это просто желчь, — я с абсолютной ясностью увидел, что для меня теперь существуют только две возможности: либо выброситься из окна, когда все уйдут спать, либо ближайшие две недели ежедневно ходить на фабрику и в контору зятя. Первое позволяло мне избавиться от всякой ответственности как за отложенную работу, так и за покинутую фабрику, второе, безусловно, не позволило бы мне писать — нельзя же просто стереть с глаз сон четырнадцати ночей — и сулит мне, если хватит силы воли и надежды, перспективу через четырнадцать дней начать с того места, на котором я сегодня прервал.

Так что из окна я не бросился, и даже соблазн сделать это письмо прощальным (я пишу его с другой мыслью) оказался не очень силен. Я долго стоял у окна, прижавшись к стеклу, и думал порой, что хорошо бы испугать своим падением сборщиков пошлин на мосту. Но я все время чувствовал себя слишком прочно, чтобы меня действительно потянуло броситься из окна и разбиться о мостовую. Мне кажется также, что в случае продолжения жизни мое писание прервется — даже если говорить только, только о перерыве — меньше, чем в случае смерти, и что за эти две недели между началом романа и его продолжением я где-нибудь, именно на фабрике, именно наперекор моим удовлетворенным родителям, продвинусь в глубь своего романа и вообще там буду жить.

Все это я излагаю тебе, мой дражайший Макс, не для того, чтобы услышать твое суждение, ибо о таких вещах ты не можешь судить, а потому, что я твердо решил, что бросаться из окна буду без прощального письма — перед концом человек имеет право ощутить усталость, — вместо этого, вернувшись в свою комнату на законных основаниях, я захотел написать тебе длинное письмо с пожеланием увидеться, и вот оно. А теперь целую тебя и спокойной ночи, потому что завтра я становлюсь фабричным начальником, что от меня и требуется.

Твой Франц

Вторник, половина первого, октябрь 1912

И все-таки сейчас, утром, я не хочу скрывать, что ненавижу их всех подряд, и за эти две недели они, думаю, вряд ли дождутся, чтоб я с ними хотя бы поздоровался. Но ненависть — и это опять обращается против меня — относится больше к чему-то за окном, чем к спокойно спящим в кровати. Сейчас во мне куда меньше уверенности, чем ночью[27].

[Прага], 13X1.12

Дражайший Макс

(диктую, лежа в постели, из лени и для того, чтобы блюдо, сваренное в постели, было тут же подано на бумагу). Я хочу тебе просто

сказать, что в воскресенье не буду читать а Баума. Пока что весь роман расплывчат. Вчера я закончил шестую главу, с усилием, а значит, начерно и плохо: попросту задушил двух персонажей, которые должны были в нем еще появиться. Все время, пока я писал, они бежали за мной вдогонку, и, поскольку в самом романе им полагалось замахнуться и сжать кулаки, они сделали это по отношению ко мне. Они все время были более живыми, чем то, что я написал. И вот сегодня я, помимо всего, не пишу — не потому, что не хочу, а потому, что опять вдруг стал смотреть вокруг слишком измученными глазами. Из Берлина[28], кстати, ничего не пришло. А какой дурак ждал чего-то? Ты сказал там абсолютно все, что могло быть продиктовано добротой, пониманием и уважением, но, даже если бы там вместо тебя по телефону говорил ангел, он все равно не смог бы тягаться с моим ядовитым письмом. Да, еще в воскресенье посыльный одного берлинского магазина передаст письмо без надписи и подписи. Чтобы справиться с моими мучениями, я просмотрел третью главу и увидел, что, для того чтобы вытащить эту работу из дерьма, нужны силы совсем другие, не мои, но даже этих сил не хватило бы, чтобы я мог преодолеть себя и прочесть главу в вашем присутствии. Переступить через это я, разумеется, не могу, так что тебе остается лишь отплатить мне добром за взятое назад обещание дважды. Во-первых, не сердись на меня, а во-вторых, прочти сам.

Адью (я хочу еще погулять с Оттлой, которой диктую это письмо, она приходит вечером из магазина, и я диктую ей, как паша, лежа в постели, да вдобавок обрекаю ее саму на молчание, потому что она, между прочим, дает понять, что тоже хотела бы что-то сказать). Хорошо в таких письмах то, что они заведомо не настоящие. Теперь мне гораздо легче, чем вначале.

Твой Франц

[Открытка, Прага, штемпель 29.VIII.(1913?)]

Дражайший Макс,

вчера я, наверное, произвел на тебя ужасное впечатление, особенно своим прощальным смехом. Но в то же время я знал и знаю, что как раз перед тобой мне не надо оправдываться. Тем не менее скорее для себя, чем для тебя, я должен сказать вот что: то, что я вчера показывал и что в таком виде знают, впрочем, лишь ты, Ф. и Оттла (хотя и с вами мне бы стоило от этого удержаться), — конечно, лишь проход на одном из этажей внутри вавилонской башни, а что там, над ним или под ним, не знают и в самом Вавилоне. Впрочем, этого более чем достаточно, даже если я, которому это ничего бы не стоило, набив руку, взялся бы еще столько же исправить. Так все и остается, ужасно и — совсем не ужасно. Что опять же означает смех, за которым через пять минут должна последовать такая же открытка. Существуют, несомненно, злые люди, прямо-таки брызжущие злом.

Франц

[Венеция, штемпель 16.IX.1913]

Мой дорогой Макс,

я не способен связно писать о связных вещах. Дни, проведенные в Вене, я с удовольствием выдрал бы из своей жизни, причем выдрал с корнем, это была бесполезная гонка, вообще трудно придумать что-нибудь более бесполезное, чем этот конгресс. Я сидел на этом сионистском конгрессе, как на совершенно чуждом мероприятии, чувствуя себя, впрочем, стесненно и рассеянно по разным причинам (сейчас в окно ко мне заглядывает мальчик и красавец-гондольер), и, так как я не бросался в делегатов даже бумажными шариками, как это делала девушка с галереи напротив, мне даже утешиться было нечем. О литературном обществе мне почти нечего сказать, я был с ними вместе лишь дважды, все они в какой-то мере мне импонируют, но, в сущности, никто мне не нравится, кроме, быть может, Штёссингера[29], который как раз был в Вене и который высказывается с милой решительностью, да еще Э. Вайс, опять очень ласковый. О тебе здесь много говорили, и, в то время как ты, наверно, смотрел на этих людей глазами Тихо[30], они сидели здесь за столом, случайно собравшиеся люди, все вместе были твоими добрыми друзьями и то и дело с восхищением поминали какую-нибудь из твоих книг. Не хочу сказать, что это хоть что-то значит, говорю только, что так было. Как-нибудь еще расскажу тебе про это подробнее, но если кто-то и протестовал, то, конечно, лишь против чрезмерной ясности, которой ты страдаешь, по мнению этих равнодушных глаз.

Но все это позади, теперь я в Венеции. Будь я не столь малоподвижен и печален, у меня не хватило бы сил выдержать Венецию. Как она прекрасна и как ее у нас недооценивают! Я останусь здесь дольше, чем собирался. Хорошо, что я один. Литература, от которой я давно не видел ничего хорошего, вновь вспомнила обо мне, задержав в Вене П. Судя по предыдущему опыту, я могу путешествовать только с тобой или же — что гораздо хуже, но тем не менее — один.

Привет всем.

Франц

[На бланке: Д-р ф. Хартунген, санаторий и водолечебница, Рива на озере Гарда, штемпель 28.IX.1913]

Мой дорогой Макс,

я получил обе твоих Открытки, но не было сил отвечать. Не отвечать — значит окружить себя молчанием, и я бы с удовольствием погрузился в молчание и не вылезал из него. Как я нуждаюсь в одиночестве и как оскверняет меня всякий разговор! В санатории я, впрочем, не разговариваю, за столом я сижу между одним старым генералом (который тоже не разговаривает, но если вдруг включится в разговор, то говорит весьма умно, во всяком случае, умней всех прочих) и одной маленькой швейцаркой с внешностью итальянки и глухим голосом, которая страдает от таких соседей.

Я теперь замечаю, что не могу не только разговаривать, но даже писать, мне хотелось бы много тебе рассказать, но получается несвязно или меня уводит не в ту сторону. Я ведь действительно уже две недели совершенно ничего не писал, я не веду дневник, я не пишу писем; чем скудней текут дни, тем лучше. Не знаю, но думаю, что, не заговори со мной сегодня кто-то на корабле (я был в Мальцезине) и не обещай я ему прийти вечером в «Баварский двор», я бы не сидел сейчас здесь и не писал бы, а был бы действительно на Рыночной площади.

А вообще я живу вполне благоразумно, даже отдыхаю, начиная со вторника я каждый день купался. Если бы только освободиться от единственного, если бы не приходилось все время думать об этом, если бы хоть иногда, обычно по утрам, когда я встаю, оно не обрушивалось на меня, сгустившись во что-то живое. Но и тут все вполне ясно, и вот уже две недели, как все закончилось. Мне надо было сказать, что я не могу, и я действительно не могу. Но почему вдруг, без особой причины, от одной только мысли об этом вновь стало неспокойно на сердце, как в худшие пражские времена. Но теперь я не могу совершенно и отчетливо описать того, что представлялось мне пугающим, когда передо мной не было почтовой бумага.

Остальное рядом с этим незначительно, я, собственно, странствую лишь по этим пещерам. Тебе может показаться, что я поддался этим мыслям от одиночества и молчания. Но это не так, потребность в одиночестве — сама по себе, я жажду уединения, мысль о свадебном путешествии приводит меня в ужас, любая путешествующая пара молодоженов, знаком я с ними или нет, действует на меня отвратительно, и, если я хочу, чтобы меня стошнило, мне достаточно представить, что я кладу руку на бедро какой-нибудь женщине. Ты видишь — несмотря ни на что, хотя все уже дело прошлое и я больше не пишу и никакой писанины не получаю, — тем не менее, тем не менее я еще от этого не отделался. В воображении невозможность подступает так же близко, как в действительности. Я не могу жить с ней и не могу жить без нее. Из-за одного этого мое существование, до сих пор по крайней мере хоть отчасти милостиво скрытое от меня, стало совершенно открытым. Меня должны палками изгнать в пустыню.

Ты не представляешь, какую радость среди всего этого доставляли мне твои открытки. «Тихо» продвигается (не думаю, что дело застопорится), что Рейнхард думает о «Прощании»[31]? Было бы смешно мне из моей ямы убеждать тебя не нервничать, ты со всем справишься сам — и скоро, и с полным успехом. Привет твоей милой жене и Феликсу (к которому это письмо также обращено, я не могу писать, но и не требую никаких вестей, ни от тебя, ни от него).

Франц

[Прага], 6.II.14

Мой дорогой Макс!

Я сижу дома с зубной и головной болью, только что я полчаса просидел в мрачной, слишком натопленной комнате за столом в углу, до этого полчаса провел, прислонясь к печке, еще полчаса до этого слонялся взад-вперед между креслом и печкой, теперь наконец могу сорваться с места и уйти. Ради тебя, Макс, потому что, если бы я не решил тебе написать, я не смог бы даже зажечь газ.

Твое желание посвятить мне «Тихо» — первая за долгое время радость, непосредственно меня затрагивающая. Знаешь ли ты, что значит такое посвящение? Что я (пусть это даже только иллюзия, но какой-то отсвет этой иллюзии греет меня и в самом деле) встаю во весь рост и становлюсь рядом с «Тихо», который настолько живее меня! Каким я буду выглядеть маленьким, бегая вокруг этой книги! Но как я буду дорожить ею, будто она мне и принадлежит. Ты незаслуженно добр ко мне, Макс, как всегда.

Значит, ты так легко понял работу Хааса[32]? Вплоть до каждого иностранного слова? И если он подтверждает твое общее мнение, как в таком случае обстоит дело с Фикхером (разумеется, он себя так не пишет), которого это могло бы потрясти?

Не стоило бы тебе давать Музилю[33] мой адрес. Чего он хочет? Что он, и вообще любой, может от меня хотеть? И что он может от меня получить?

Ну ладно, теперь возвращаюсь к своей зубной боли. Она уже третий день становится все сильнее. Лишь сегодня (вчера я был у врача, он ничего не нашел) я с уверенностью могу сказать, какой это зуб. Виноват, конечно, врач, болит запломбированный зуб, под пломбой; бог знает, что там, в закрытом месте, варится; у меня и железы распухли. Завтра к Фанте[34] я вряд ли пойду, я не люблю туда ходить. Не напишешь ли мне, когда будешь на следующей неделе выступать. Я совершенно уверен, что вправе теперь распорядиться всем, что касается «Тихо».

Франц

[Прага, примерно август 1915]

Дорогой Макс,

раньше мне справиться не удалось. Лежал до четверти второго, не в силах заснуть и не чувствуя особой усталости.

Вот рукопись[35]. Я подумал, не стоит ли теперь, когда Блея уже нет в «Белых листках»[36], попытаться отнести этот рассказ в «Белые листки». Мне совершенно безразлично, когда он будет напечатан, в следующем году или через год. Фонтане я не привез, ужасно не хотелось брать в дорогу книгу. Так что до вашего возвращения. Зато я привез Зибея. Читайте и плачьте!

Пожалуйста, Макс, если увидишь где-нибудь в Германии французские газеты, купи за мой счет и привези мне!

И наконец, не забывай, что у тебя есть выбор между Берлином и Тюрингским лесом и что в Берлине есть всего лишь только Берлин, а в Тюрингском лесу могут появиться и «Новые христиане»[37], тем более сейчас, в решающий момент, когда идет движение снизу.

А засим будь здоров!

Франц

[Две открытки, Мариенбад, штемпель 5. VII. 1916]

Дорогой Макс,

Итак, я в Мариенбаде. Если бы после того, как мы распрощались, и; как мне показалось, надолго, я писал каждый день, получилась бы полная неразбериха. Вот лишь последние дни: счастье оттого, что прощаюсь со службой, необычно ясная голова, почти со всей работой справился, оставил после себя образцовый порядок. И если б знать, что это прощание навсегда, я бы согласился шесть часов диктовать, а потом на коленях вымыть всю лестницу от чердака до подвала, чтобы поблагодарить за прощание каждую ступеньку. Но на другой день — головные боли до одурения: свадьба свояка, из-за которой пришлось остаться в Праге еще до воскресенья, вся церемония — не что иное, как подражание сказке; почти кощунственная венчальная речь: «Как прекрасны шатры твои, Израиль», и всякое тому подобное. На настроение этого дня повлиял, впрочем, и жуткий сон, особенность которого состояла в том, что ничего жуткого в нем не происходило, просто обычная встреча в переулке со знакомыми. Подробности я совсем не помню, тебя, по-моему, там не было. Но жутким было чувство, которое я испытывал по отношению к одному из этих знакомых. Пожалуй, такого сна у меня еще не бывало. Потом в Мариенбаде меня очень любезно доставил с вокзала Л., тем не менее ночь в отвратительном номере с окнами во двор была ужасна. Впрочем, мне знакомо это отчаяние первой ночи. В понедельник — переселение в необычайно хороший номер, теперь я живу не где-нибудь, а в отеле «Бальмораль». И там я попытаюсь справиться с отпуском, начну с попытки превозмочь головную боль, что до сих пор мне не удавалось. Ф. и я шлем вам сердечный привет.

Франц

[Мариенбад, середина июля 1916]

Дорогой Макс,

решил больше не откладывать и прямо сегодня подробнее ответить, так как это у меня последний вечер вместе с Ф. (или, вернее, предпоследний, поскольку завтра я еще провожаю ее во Франценсбад, чтобы навестить свою мать).

Позавчерашний день, который я описал на открытке карандашом (я пишу в зале, как будто специально приспособленном для того, чтобы слегка раздражать друг друга, мешать и нервировать), оказался как бы концом (хотя были еще разные переходы, которых я не понимаю) целого ряда ужасных дней, переросших в еще более ужасные ночи. Порой мне в самом деле казалось: ну все, птичка, попалась. Но так как хуже уже быть не могло, стало лучше. Пути, которыми я был связан, по крайней мере ослабли, я отчасти пришел в себя, та, которая все время тянула мне в полнейшую пустоту руку помощи, помогла снова, и с ней оказались для меня возможными неведомые мне прежде человеческие отношения, достигавшие порой той степени, что случались в наши лучшие времена: отношения между писавшим письма к писавшей письма. В сущности, я никогда еще не был в близких отношениях с женщиной, если не считать двух случаев, того в Цукмантеле (но тогда она была женщина, а я юноша) и того в Риве (но там она была полурепенка, а я — совершенно запутавшийся и абсолютно больной). Но теперь я увидел доверчивый взгляд женщины и не мог от него отгородиться, что-то, что я хотел бы сохранить навсегда, оказалось разорвано (я говорю не о частностях, а о целом), и разрыв этот, я знаю, породит несчастья, которых хватит больше чем на одну человеческую жизнь, я их не накликал, но заслужил. Я не вправе от этого отрекаться, тем более что, если бы этого не случилось, я бы сам, своими руками, постарался это сделать, лишь бы снова обрести тот же взгляд. Я ведь совсем ее не знал, помимо прочего, мне тогда мешал именно страх перед реальным существованием женщины, писавшей мне письма; когда она в большой комнате вышла мне навстречу для обручального поцелуя, все во мне содрогнулось; обручальная экспедиция с моими родителями была для меня медленной пыткой; никогда я не испытывал такого страха, как наедине с Ф. перед свадьбой. Теперь все иначе и хорошо. Вот вкратце наш договор: мы женимся сразу, как окончится война, снимаем две-три комнаты в пригороде Берлина, каждый будет лишь заботиться о себе по хозяйству. Ф. продолжит работать, как и прежде, а я — ну а про себя я еще не могу сказать. Впрочем, если ты хочешь представить себе все наглядно, пожалуйста, можешь заглянуть в две наши комнаты, где-то в Карлсхорсте, в одной Ф., она встает рано, убегает и вечером, усталая, валится в кровать; в другой стоит канапе, на котором лежу я, питаюсь молоком и медом. Так лежит, потягиваясь, аморальный мужчина (по известному изречению). И тем не менее все-таки есть тишина, определенность, а значит, можно жить (задним числом: сказано, пожалуй, сильно, нажима на такие слова слабое перо долго не выдерживает).

Вольфу я пока писать не буду, не так уж это срочно, да и он сам не считает, что срочно. С послезавтрашнего дня я остаюсь один, затем я хочу (у меня есть время до следующего понедельника)... я хотел сказать: немного разобраться в своих делах, так что среда превратится в пятницу. Я был с Ф. во Франценсбаде у матери и у Валли, теперь Ф. уехала, я один. Все дни с того самого утра, как мы оказались в Тепле[38], были такие прекрасные, такие легкие, что я ни на что подобное не надеялся. Были, конечно, и мрачные промежутки, но красота и легкость преобладали даже в присутствии моей матери, а это действительно очень необычно, настолько необычно, что при всем при том меня даже сильно пугает. Ладно...

Здесь в гостинице меня ждал неприятный сюрприз, нарочно или по ошибке была сдана моя комната, а мне отдана комната Ф., гораздо менее спокойная, с соседями справа и слева, простой дверью, без окна, с одним только балконом. Но вряд ли я соберусь с духом искать новое жилье. Тем не менее как раз сейчас хлопает входная дверь и чьи-то тяжелые шаги ищут свой номер.

Насчет Вольфа: значит, я ему пока не пишу. К тому же ведь какая выгода выступать вначале со сборником из трех новелл, из которых две уже напечатаны. Лучше я буду сидеть тихо, пока не смогу предложить чего-нибудь нового и законченного. А если не смогу, тогда надо навсегда замолкнуть.

Я прилагаю статью в «Тагблатт» — подразумевается «Иди, гофрат!» — сохрани ее, пожалуйста, для меня. Он очень любезен, и эта любезность еще более возросла, когда он вдруг усадил нас за столик в кафе в «Энглэндере» в момент, когда, казалось, виски действительно больше не выдержат. Это поистине был небесный елей. Мне хотелось бы поблагодарить за это господина гофрата, и, возможно, я это еще сделаю.

Для твоего сборника, который я не одобряю, хотя и понимаю, посылаю тебе две картинки. Любопытно, кстати, что оба прислушиваются, наблюдатель на лестнице, учащийся над книгой. (Как топочут сейчас люди перед моей дверью! Впрочем, учащемуся ребенок не мешает.)

9—14 тысяч! Прими мои поздравления, Макс. Итак, большой мир накинется на тебя. Особенно во Франценсбаде «Тихо» на всех витринах. В «Теглихен рундшау», которую я случайно читал вчера вечером, книгу анонсирует книжный магазин Гзелиуса. Не пришлешь ли



ты мне рецензию из «Рундшау»?

Я повторю еще две просьбы: адрес Отто и посреднической конторы по продаже картин. Есть еще третья: не мог бы ты послать Ф. проспект Еврейского народного дома (Технические мастерские, Берлин, 0-27, Маркусштрассе, 52)[39]. Мы с ней говорили об этом, и она хотела бы это иметь.

У тебя всегда была особая любовь к «Рихарду и Самуэлю», я знаю. То были прекрасные времена, но почему обязательно и литература должна быть хорошей?

Над чем ты работаешь? Будешь ли ты в Праге во вторник на этой неделе? Это письмо, разумеется, можешь показать Феликсу, но женщинам лучше не надо...

Твой Франц

[На бланке: Мариенбад, замок Бальмораль и Осборн, середина июля 1916]

(На полях.) Опять в полном зале, меня туда тянет.

Дорогой Макс, спасибо за весточку, она пришла в день, когда у меня болела голова, да так сильно, как я, по крайней мере здесь, уже и не ожидал. Тем не менее сразу после еды я отправился в путь.

Я просто опишу, как все было, ни о чем, кроме увиденного, я говорить не могу. А видишь лишь крохотные мелочи, и, между прочим, именно они мне кажутся характерными. Это свидетельство достоверности, противостоящее крайним глупостям. Там, где речь идет о правде, невооруженный глаз увидит лишь мелочи, не больше.

Сначала я никак не мог разыскать Лангера[40]. Там, на возвышенности, теснятся несколько домов и домишек, попасть из одного в другой, даже принадлежащий тому же владельцу, можно лишь по лестницам и переходам, наполовину подземным. Названия домов однотипны, так что их легко спутать: «Золотой замок», «Золотая чаша», «Золотой ключ»{3}, у некоторых по два названия, одно на фасаде и другое на задней части, да еще ресторан называется не так, как дом, к которому он относится, так что с первой попытки и не пройдешь. Потом, однако, начинаешь понимать: здесь свой порядок, это небольшая, со своей иерархией община, которую обрамляют два больших элегантных дома, отели «Националь» и «Флорида». «Золотой ключ» — самый бедный. Но и там не знали Лангера. Лишь потом служанка вспомнила про каких-то молодых людей, живущих в мансарде; если я ищу сына пражского вино торговца, то я его найду там. Но сейчас он, скорее всего, у господина Клейна во «Флориде». Когда я туда добрался, он как раз выходил из ворот.

Не буду пересказывать того, что от него услышал, опишу лишь то, что видел.

Каждый вечер в половине восьмого — в восемь раввин выезжает в коляске на прогулку. Он медленно едет по лесу, несколько приверженцев сопровождают его пешком. В лесу он выходит в одном, уже определенном месте и ходит со своими приверженцами по лесным дорожкам взад-вперед, пока не стемнеет. Ко времени молитвы, к десяти часам, он возвращается домой.

Итак, в половине восьмого я был перед отелем «Националь», где он живет. Лангер ждал меня. Был необычайно сильный даже для этого времени дождь. Последние две недели, пожалуй, дождей вообще не было. Лангер считал, что это наверняка скоро кончится, но дождь не прекращался, а шел все сильнее. По словам Лангера, лишь однажды его при выезде застал дождь, но потом в лесу сразу перестал. А вот на этот раз не перестал.

Сидя под деревом, мы видим, как какой-то еврей выбегает из дома с бутылью из-под содовой. Лангер говорит, что он носит для раввина воду. Мы составляем ему компанию. Он должен был принести воду из Рудольфова источника, который прописан раввину. К сожалению, он не знает, где этот источник. Некоторое время мы разыскиваем его под дождем. Какой-то встречный господин показывает нам дорогу, но говорит при этом, что все источники закрываются в семь. «Как могут источники быть закрытыми?» — говорит тот, кого послали за водой, и мы бежим туда. Рудольфов источник действительно оказывается закрытым, это видно уже издалека. «Тогда возьми воду из Амброзиева источника, — говорит Лангер, — этот всегда открыт». Водонос охотно соглашается, и мы бежим туда. Действительно, женщины моют там стаканы для питья. Водонос смущенно приближается к ступеням и вертит в руках бутылку, в которой уже собралось немного дождевой воды. Женщины сердито дают ему от ворот поворот, разумеется, и этот источник в семь закрылся. Что ж, мы бежим обратно. На обратном пути нам встречаются еще два еврея, на которых я обратил внимание уже раньше, они идут друг с другом, как влюбленные, и ласково друг на друга смотрят и улыбаются, у одного рука в глубоком заднем кармане, у другого вид более городской. Идут рука об руку. Им рассказывают про закрытый источник, они ничего не могут понять, водонос тоже ничего не понимает, и теперь все трое, но уже без нас, бегут к Амброзиеву источнику. Когда мы идем к отелю «Националь», водонос снова догоняет нас и перегоняет, тяжело дыша, кричит нам, что источник действительно закрыт.

Чтобы укрыться от дождя, мы хотим войти в коридор отеля, но тут Л. отскакивает назад и в сторону. Входит раввин. Никто не вправе оказаться у него на пути, впереди должно оставаться свободное пространство, соблюдать этот распорядок нелегко, поскольку он часто внезапно поворачивается и достаточно быстро уклониться с его пути в суতোлке не так просто. (Еще хуже, должно быть, в комнате, там суতোлка такая, что это и для самого раввина опасно. Наконец он начинает кричать: «Вы хасиды? Вы убийцы!») Все это придает процессии торжественность, раввин в буквальном смысле несет (не предводительствует, ведь справа и слева от него люди) ответственность за шаги всех. И каждый раз заново формируется группа, чтобы освободить пространство для взгляда.

Он выглядит как султан, какого я в детстве часто видел на иллюстрациях Доре к «Мюнхгаузену». Но это не маскарад, он действительно султан. И не только султан, но отец, учитель народной школы, профессор гимназии и т. д. Вид его спины, его руки, лежащей на бедре, движение, каким поворачивается эта широкая спина, — все вызывает доверие. И то же счастливое доверие, которое я хорошо чувствую, в глазах всей группы.

Он среднего роста и довольно полный, но отнюдь не лишен подвижности. Длинная белая борода, необычно длинные пейсы (которые ему

нравятся и в друзьях; он расположен к тем, у кого длинных детей, он похвалил красату двух маленьких детей, которых вел за руку отец, но красивыми он мог назвать только локоны). Один глаз слеп и неподвижен. Рот искривлен, выражение его одновременно ироническое и ласковое. На нем шелковый кафтан, открытый спереди; вокруг пояса крепкий кушак; высокая меховая шапка, которая особенно его выделяет. Белые чулки и, по словам Л., белые штаны.

Прежде чем выйти из дома, он меняет палку на зонтик. (Льет по-прежнему с неизменной силой и пока не перестает, вот уже до половины одиннадцатого.) Начинается прогулка (впервые не выезд — очевидно, он не хочет тащить за собой людей под дождем в лес). За ним и рядом с ним идет примерно десяток евреев. Один несет серебряную палку и кресло, должно быть, на случай, если раввин вдруг захочет сесть, другой несет полотенце, чтобы вытереть стул, еще один несет стакан, чтобы раввин мог попить, еще один (Шлезингер, богатый еврей из Пресбурга) несет бутылку с водой из Рудольфова источника, он, должно быть, купил ее в магазине. Особую роль в этой свите играют четверо «габимы»[41] (или что-то в этом роде), это «ближайшие», служащие, секретари. Старший из этих четверых, по словам Лангера, плут необычайный; об этом, похоже, красноречиво говорят и его толстый живот, и самодовольный вид, и косой взгляд. Впрочем упрекать его за это не стоит, все «габимы» портятся, длительная близость к раввину не проходит безвредно, с этим противоречием между глубокой значительностью и непрерывной повседневностью не может справиться обычный рассудок.

Процессия продвигается очень медленно.

Раввин поначалу с трудом входит в темп, правая нога первое время не совсем хорошо его слушается, одолевает кашель, свита почтительно его обступает. После с внешними помехами, видимо, удается справиться, но теперь начинается осмотр, и вся процессия то и дело замирает. Он осматривает все, особенно же постройки, его интересуют совершенно незаметные мелочи, он задает вопросы, сам обращает на что-то внимание, демонстрируя удивление и любопытство. Вообще это не более чем пустяковые слова и вопросы гуляющего вельможи, в них есть что-то немного детское и радостное, но, как бы там ни было, они заставляют и всех сопровождающих безропотно мыслить на том же уровне. Лангер ищет или предполагает во всем более глубокий смысл, но мне кажется, глубокий смысл как раз в том, что его здесь нет, и этого, по-моему, вполне достаточно. Сплошная милость Божия, без всякой иронии, которую надо было бы сохранять при недостаточности фундамента.

Ближайший дом — институт Цандера. Он расположен высоко над улицей на каменном постаменте, а перед ним сад, огороженный решеткой. Раввин делает какое-то замечание насчет постройки, потом проявляет интерес к саду, спрашивает, что это за сад. Как повел бы себя в подобном случае наместник перед императором, Шлезингер (по-еврейски его зовут Сина) мчится по лестнице вверх к саду, но там не задерживается, тотчас сбегает (все под сплошным ливнем) опять вниз и сообщает (что он, конечно, мог узнать и сразу, никуда не поднимаясь), что это просто частный сад, принадлежащий институту Цандера.

Раввин, еще раз внимательно оглядев сад, поворачивается, и мы идем к Новым баням. Сначала мы подходим к зданию, позади которого проложены в углублении трубы для паровых ванн. Раввин низко перегибается через поручни, он не может наглядеться на трубы; теперь начнется обмен мнениями о трубах.

Здание построено в безразличном, трудноопределимом, смешанном стиле. Нижний ряд окон вписан в сводчатые каменные дуги, увенчанные наверху звериными головами. Все дуги и все звериные головы одинаковы, тем не менее раввин останавливается перед каждой из шести дуг этой боковой стороны отдельно, осматривает, сравнивает, оценивает, причем и с близкого, и с дальнего расстояния.

Мы сворачиваем за угол и теперь останавливаемся перед фасадом. Здание производит на него большое впечатление. Над воротами золотыми буквами написано «Нойбад». Он велит, чтоб ему прочитали надпись, спрашивает, почему дом так называется и единственные ли это бани, какого они возраста и т. д. Иногда с особой, характерной для восточных евреев, интонацией удивления он произносит: «Красивый дом».

Еще раньше он несколько раз посматривал на водосточный желоб, теперь, когда мы оказались у самого здания (мы уже один раз прошли мимо фасада по противоположной стороне улицы), он делает большой крюк, чтобы подойти к водосточному желобу, который спускается вдоль угла, образованного выступом дома. Ему нравится, как стучит в нем вода, он прислушивается, поднимает взгляд по трубе вверх, оцупывает ее и требует, чтобы ему про нее рассказали.

(Здесь посередине листа письмо обрывается.)

[Цюрау, середина сентября 1917]

Дорогой Макс,

в первый день я не стал тебе писать, потому что мне тут слишком понравилось и я не хотел преувеличивать, как мне пришлось бы в таком случае сделать, с риском сглазить. Но теперь все приобрело свой естественный вид, проявились скрытые изъяны (не болезнь, о которой я пока почти ничего не знаю), из двора напротив несутся время от времени вопли всего Ноева ковчега, вечный жестящик колотит по жести, у меня нет аппетита, а ем я слишком много, вечером нет света и т. д. Но и хорошего больше чем достаточно, насколько я пока могу видеть: Оттла в буквальном смысле на своих крыльях несет меня через трудный мир, комната (хотя и выходящая на северо-восток) отличная, не душная, теплая, и вдобавок ко всему почти абсолютная тишина дома; все, что мне положено есть, стоит передо мной в изобилии и хорошего качества (только сводит губы судорогой при виде всего этого, но так у меня бывает в первые дни на новом месте), а главное — свобода, свобода.

Впрочем, есть здесь еще свои язвы, и легочные язвы можно считать лишь их символом. Судя по твоим последним словам в коридоре, Макс, ты не совсем это понимаешь, но, возможно, и я тоже не все понимаю, вообще (так будет и в твоей личной жизни) понимание в таких вещах невозможно, потому что их нельзя обозреть, настолько беспорядочна и все время в движении эта громадная, все нарастающая масса. Горе, горе — и одновременно это ты сам, а не что иное, и, если бы горе наконец развеять (это могут сделать, наверно, лишь женщины), от меня и от тебя ничего не осталось бы.

Во всяком случае, сейчас я держусь за туберкулез, как ребенок за юбку своей матери. Если я получил болезнь от матери, тем более все сходится, и мать в своей бесконечной заботливости, сама того не сознавая, оказала мне еще и эту услугу. Я все еще пытаюсь найти объяснение болезни, ведь не сам же я за ней гнался. Порой мне кажется, что мозг и легкие могли бы понять друг друга без моего участия. «Так дальше не пойдет», — сказал мозг, и спустя пять лет легкие вызвались помочь.

Но в целом, если угодно, и это все ложно. Познание первой ступени. Первой ступени лестницы, на вершине которой для меня как награда и смысл моего человеческого (а там, глядишь, чуть ли не наполеоновского) существования спокойно расставлена супружеская кровать. Она не будет расставлена, я никогда, так уже predetermined, не покину пределов Корсики.

Впрочем, я это понял не в Цюрау, понимание пришло еще во время поездки по железной дороге, когда самой тяжелой частью моего багажа была почтовая открытка, которую ты видел. Но я, конечно, не перестану думать об этом и здесь.

Привет всем, особенно твоей жене, от Тартюфа. У нее неплохой взгляд, но слишком сконцентрированный, она видит лишь ядро; но проследить за излучениями, которые расходятся как раз из ядра, для нее слишком трудно.

Со всей сердечностью,

Франц

[Цюрау, середина сентября 1917]

Дорогой Макс,

какой у меня тонкий инстинкт, почти как у тебя! словно коршун, ищущий покоя, я парю в высоте и вдруг опускаюсь напрямик в эту комнату, против которой сейчас кто-то, дико нажимая на педаль, играет на пианино, наверняка единственном пианино во всей окрестности. Но я это бросаю — увы, лишь фигурально — в одну кучу со всем хорошим, что у меня здесь есть.

Наша переписка может быть очень простой; я пишу свое, ты свое, и это уже будет ответ, суждение, утешение, безутешность, что угодно. Нам, бедным голубям, перерезает шею один и тот же острый нож, одному здесь, другому там. Но так медленно, так волнующе, так экономя кровь, так мучительно для сердца, так мучительно.

Моральная сторона тут, пожалуй, дело последнее, и не просто последнее, тут и во-первых, и во-вторых, и в последних — кровь. Речь идет о том, сколько здесь страсти, сколько понадобится времени, чтобы стенки сердца достаточно истончились от ударов, если, конечно, легкие не опередят сердце.

Ф. дала о себе знать несколькими строчками. Я ее не понимаю, она необыкновенная, или лучше сказать: я ее понимаю, но не могу удержать. Я кружу вокруг нее и облаиваю, как нервный пес статую, или, если прибегнуть к столь же верному, хотя и противоположному, образу: я смотрю на нее, как спокойно смотрит на живущих в его комнате людей набитое чучело. Полуправды, тысячные доли правды. Верно лишь то, что Ф. действительно приезжает.

Меня угнетает столь многое, я не нахожу выхода. Назвать ли ложной надеждой, самообманом желание остаться навсегда здесь, то есть в деревенской местности, вдали от железной дороги, но близко к неизбежному закату, от которого никто и ничто не может найти защиты? Если это самообман, то, значит, зов крови требует от меня стать новым воплощением моего дядюшки, сельского врача, которого я (при всем моем величайшем сочувствии) иногда называл «Чирикалка» за тонкий, мальчишеский, как будто сдавленный птичий звук, который он всегда издавал. Вот он живет в деревне безвыездно, довольный, как может быть доволен человек, опьяненный именно тихо шумящим безумием, которое можно принять за мелодию жизни. Но если стремление жить в деревне не самообман, тогда в этом есть что-то хорошее. Но вправе ли я в тридцать четыре года, с весьма сомнительными легкими и еще более сомнительной способностью к человеческим отношениям, ожидать хорошего? Скорее уж все-таки сельский врач; если хочешь, вот как раз подтверждение отцовского проклятия; чудесно смотреть ночью, как надежда борется с отцом.

Твои планы (оставим пока борющихся) насчет новеллы вполне соответствуют моему желанию. Я связываю с новеллой многое. Но будут ли отвечать этим намерениям две первые, что ни говори, все-таки легкомысленные? Насколько я чувствую, отнюдь. Что это за три страницы, которые ты написал? Важны ли они для целого? Противопоставление Тихо для тебя болезненно? Это не опровергнет его, ведь истинное неопровержимо, лишь, может быть, отбросит. Но разве каждый раз не лучший способ атаки, как пишут военные корреспонденты, подняться, вскочить, отбросить? И так ты будешь повторять бесчисленное количество раз, штурмуя чудовищный бастион, пока в последнем томе собрания сочинений не упадешь, блаженно усталый, или — в худшем случае — не сможешь подняться с колен.

Не надо думать, что это печально. И я не особенно печалюсь. С Оттлой я живу в своего рода добром браке; в основе этого брака не насильственное соединение двух потоков, как обычно, а прямое, с небольшими извилинами течение. У нас славное хозяйство, в котором вам, я надеюсь, понравится. Я попытаюсь что-нибудь сохранить для вас, Феликса и Оскара, это непросто, так как у нас здесь всего немного и надо сначала насытить многочисленных здешних едоков. Но что-нибудь, конечно, найдется, только надо будет самому доставать.

Да, теперь о моей болезни. Температуры нет, вещь я по приезде 61 с половиной, уже прибавил. Погода хорошая. Много лежал на солнце. Без Швейцарии, о которой ты, впрочем, можешь судить лишь по прошлому году, мне пока не обойтись.

Всего доброго, и да утешат тебя чем-нибудь небеса!

Франц

(Два примечания на полях:)

Если тебе нужна помощь в части переписки, я мог бы попросить мою машинистку.

Ты ведь уже получил от меня одно письмо. Оно идет три-четыре дня.

[Цюрау, конец сентября 1917]

Дражайший Макс,

при первом чтении твоего письма я слышал в нем берлинскую нотку, но, когда я читал второй раз, она как бы уже отзвучала, и я услышал тебя. Я всегда думал, что о болезни еще будет время поговорить, насколько время вообще будет, но если ты хочешь: мне сделали контрольную проверку, и температуры не оказалось совершенно, так что тут нет ни подъемов, ни спадов, профессор, после того как ему продемонстрировали данные первой недели, пока что тоже потерял ко мне всякий интерес. Холодное молоко к завтраку. Профессор (когда надо защищаться, моя память великолепна) сказал, что молоко надо пить либо ледяным, либо горячим. Поскольку погода теплая, против холодного молока возразить нечего, особенно если учесть, что я к нему привык и, бывает, могу выпить пол-литра холодного молока и самое большее четверть литра теплого. Некипяченое молоко. Тут спорный вопрос, ты думаешь, там больше микробов, мне кажется, все не так просто и некипяченое молоко полезнее. Но я не привередливый, пью и кипяченое, а как станет холоднее, буду пить только теплое или простоквашу. В промежутках есть не полагается. Лишь в самом начале, пока не наладилось питание, да еще потом, когда мне даже не хотелось — обычно перед обедом и после, — четверть литра простокваши. Есть чаще я не могу; жизнь (в общем) довольно печальная. Как это не лежу? Я лежу часов восемь в день. Хотя и не на специальном шезлонге, но на устройстве, которое показалось мне удобней всех виданных мной шезлонгов. Это старое широкое мягкое кресло с двумя скамеечками впереди. Отличная комбинация, по крайней мере сейчас, когда не нужно укрываться. Зачем паковаться? Я ведь лежу на солнце и жалею, что нельзя еще снять брюки, которые в последние дни были моей единственной одеждой. Настоящий шезлонг пока еще в дороге. Поехать к врачу. Когда это я говорил, что не поеду к врачу? Без всякой охоты поеду, но поеду. Шницлер[42] не ответил. Ты думаешь, я слишком мрачно смотрю на перспективы? Нет. Да и почему, если сейчас мне легче, а в таких делах важнее всего чувство. Если я иной раз скажу что-нибудь в таком духе, то это так, ради красного словца, на которое я бываю столь щедр в худые времена, или же это говорит вместо меня болезнь, потому что я ее попросил об этом. Верно лишь то, что ни к чему я не отношусь с таким доверием, как к смерти.

О долгой предыстории и истории приезда Ф. ничего не рассказываю, ведь и ты о своих делах не пишешь, только жалуешься вообще. Но жалобы жалобами, Макс, а орешек-то надо расщелкать.

Ты прав, в нерешительности тут дело или в чем-то другом — это как посмотреть. Тем более нерешительность для всех дело новое, старой нерешительности не бывает, ведь она время всегда перемалывала. Интересно и в то же время мило, что ты не понимаешь моего случая. Я мог бы и даже должен бы говорить о Ф. гораздо лучше — но все равно это случай пожизненный, и с ним ничего не поделаешь. С другой стороны, я вовсе не стал бы утверждать, будто знаю, что мог бы сделать для меня на твоём месте. Я бессилён, как собака, что лает сейчас на улице, и в своем, и в твоём случае. Я могу помочь лишь небольшой толикой тепла, что у меня есть, больше никак.

Кое-что я читал, но, зная в каком ты состоянии, об этом не стоит и упоминать. Разве что анекдот из Стендаля, который, возможно, есть и в «Эдюкаторе». Молодым человеком он оказался в Париже, праздный, алчный, невеселый, недовольный Парижем и всем на свете. Некая замужняя женщина, знакомая родственников, у которых он жил, иногда выказывала ему расположение. Как-то она пригласила его сходить в Лувр с ней и с ее любовником. (В Лувр? Я что-то засомневался. Или куда-нибудь в этом роде.) Пошли. Когда они выходили из Лувра, лил сильный дождь, повсюду грязь, до дома далеко, надо брать экипаж. Под влиянием настроения, с которым он в этот момент не мог совладать, он отказывается ехать с ними, проделывает весь невеселый путь пешком, в одиночестве; он уже готов плакать, когда ему приходит в голову, что можно не идти к себе в комнату, а нанести визит этой женщине, жившей в переулке поблизости. Он рассеянно поднимается вверх. И разумеется, застаёт любовную сцену между женщиной и любовником. Женщина возмущенно восклицает: «Бог ты мой, почему вы не сели с нами в коляску?» Стендаль убегает прочь. А вообще он неплохо умел жить и распоряжаться своей жизнью.

Франц

В следующий раз, пожалуйста, напиши прежде всего о себе.

[Цюрау, конец сентября 1917]

Дорогой Макс,

твою вторую посылку с публикациями я получил просто случайно, почтальон оставил ее у какого-то крестьянина. Почта здесь доставляется весьма ненадежно, в том числе и мои письма (возможно, дело еще и в том, что у нашего отделения связи даже не останавливаются поезда), тебе стоило бы нумеровать свои отправления, чтобы в случае чего можно было бы подать рекламацию и все-таки получить пропавшее. Последней посылкой было бы особенно жаль; хасидские истории в «Юдишес эхо»[43], возможно, и не из числа лучших, но это единственное еврейское, где я, уж не знаю как, независимо от настроения, всегда и неизменно чувствую себя дома, во все остальное меня лишь заносит ветром, а следующим дуновением уносит обратно. Если ты не возражаешь, я пока оставлю эти рассказы у себя.

Почему ты отклонил просьбу еврейского издательства или просьбу д-ра Й.? Можно, конечно, сослаться на большие требования и твое нынешнее состояние, но оправдывает ли это отказ? Ты, видимо, не хочешь сборника статей, потому что все предназначено для «Эсфири»[44]?

Лёви[45] пишет мне из какого-то будапештского санатория, куда его поместили на три месяца. Он прислал мне начало статьи для «Дер юде»[46]. По-моему, это вполне годится, но, конечно, нуждается в некоторой грамматической доработке, а та в свою очередь требует донельзя нежной руки. Я пошлю тебе машинописный экземпляр (вещица совсем короткая) вначале для отзыва. Пример трудностей: он пишет об отличии публики в польских театрах от публики в еврейских — фрячные господа и неглижированные дамы. Лучше не скажешь, но

немецкий язык сопоставляется. И таких примеров много; блестяще тем ярче, чем сильнее колеблется его язык между русским и немецким и чем больше склоняется к немецкому. Умел бы я так переводить, как ты!

Франц

Куропатки — пара тебе, пара Феликсу. Приятного аппетита.

[Цюрау, начало октября 1917]

Моя болезнь, дорогой Макс? Скажу тебе по секрету, я едва ее ощущаю. Я не температуру, кашляю мало, не чувствую никаких болей. Одышка есть, это верно, бывают затруднения при ходьбе или иногда при работе, я дышу вдвое чаще прежнего, но это не так уж мне мешает. Я начинаю думать, что туберкулез в такой форме, как у меня, не бог весть какая болезнь, она даже не заслуживает специального наименования, это лишь набирает силу зародыш смерти вообще, и оценить, что это значит, пока невозможно. За три недели я прибавил два с половиной кило, то есть увозить меня отсюда будет существенно тяжелее.

Меня радуют добрые известия о Феликсе, пусть даже они и устарели, все равно это помогает увидеть все в целом или издалека в более утешительном свете; впрочем, ему это, наверное, приносит больше вреда, чем пользы. Я написал ему уже две с лишним недели назад, ответа еще не получил. Не сердится ли он на меня? Неплохо бы ему напомнить, что я болен и что на такого больного не надо сердиться.

Новый кусок романа. Совсем новый или это переработка той части, что ты мне еще не читал? Если ты считаешь, что первая глава подходит, тогда хорошо. Как странно для меня звучит: «Проблема, которую я сейчас вижу перед собой». Само по себе это нечто естественное, вот только мне так непонятно, а тебе так близко. Это нешуточная борьба, за это стоит жить и умереть, независимо от того, выйдешь ли ты победителем. Во всяком случае, ты видел противника или хотя бы его сияние в небе. Когда я пытаюсь это понять, то сам себе кажусь буквально словно неродившимся, темный сам, я шарю в темноте.

Но не совсем. Что ты скажешь про этот ослепительный кусок самопознания, который я списал из одного своего письма к Ф. Из этого могла бы получиться хорошая надгробная надпись:

«Когда я проверяю себя своей конечной целью, то оказывается, что я, в сущности, стремлюсь не к тому, чтобы стать хорошим человеком и суметь держать ответ перед каким-нибудь высшим судом, — совсем напротив, я стремлюсь обозреть все сообщество людей и животных, познать их главные пристрастия, желания, нравственные идеалы и как можно скорее самому стать таким, чтобы понравиться абсолютно всем, причем — вот где хитрость — понравиться так, чтобы, не теряя общей любви, я, как единственный грешник, которого не поджаривают, мог открыто, на глазах у всех, обнажить все присущие мне пороки. Иными словами, меня интересует только людской и звериный суд, и я все-таки хочу его обмануть, причем без обмана».

Вот ядро самопознания, которое, наверное, дает возможность для кое-каких выводов и доказательств.

«Енуфу» я получил. Это чтение — музыка. В тексте и музыке здесь вся суть, и ты заставил звучать это по-немецки, как исполнин. Как тебе только удалось наполнить живым дыханием повторы!

Можно я при этом укажу некоторые мелочи? Вот хотя бы: можно ли бежать от «творения»? «Ты видишь, тогда тебя надо любить». Не звучит ли у нас в ушах тот немецкий, который мы слышали от наших немеческих матерей? «Мужское разумение — как в воду упасть» — это искусственный немецкий. «Робкий пыл» — годится ли это здесь? Двух замечаний судьи я не понял: «Нет ли мне сигары...», «Я тут вижу (или стою?)» без ученых господ...». «Охотно» в конце немного портит это великолепное место. Я ожидал, что тексты песен будут лучше, но, возможно, они и по-чешски не очень хороши. «Ослабившуюся смерть» я охотно уступил бы Райхенбергеру[47], ты также упоминаешь, что конец второго акта испорчен, но мне, пожалуй, помнится, что это место давалось тебе особенно трудно и в рукописи, может только в варианте для чтения, перевод был такой же. Не стоит ли предварительно объяснить, что значит «пономарша»?

О Шелере[48] в следующий раз. Блюера[49] мне любопытно бы почитать. Я не пишу. Именно чтобы писать, у меня не хватает воли. Если бы я умел спастись, как летучая мышь, копая норы, я бы копал норы.

Франц

Ты ничего не слышал о Гроссе[50], Верфеле и журнале? Как твоя поездка, в Комотау — Теплиц?

Ты ничего не сказал о рисунке Оттлы, она так гордилась, посылая его тебе (ради самозащиты), поэтому письмо было послано заказным.

[Цюрау, 12 октября 1917]

Дорогой Макс,

меня, право, всегда удивляло, что по отношению ко мне и к другим у тебя наготове слова: «счастливый в несчастье», причем в них звучит не констатация, не сожаление или по крайней мере предостережение, а упрек. Разве ты не знаешь, что это значит? Здесь, конечно, одновременно подразумевалось «несчастливый в счастье» — с такой задней мыслью ставилось, наверное, клеймо Каину. Если человек счастлив в несчастье, это прежде всего означает, что он перестал идти в ногу со временем, это значит на деле, что для него все распалось или распадается, что ни один голос не доносится до него неискаженным и он не может по-настоящему следовать за ним. У меня до такой крайней степени не доходит или, во всяком случае, пока не доходило; меня и счастье, и несчастье поражают в полной мере; ну а в среднем ты, пожалуй, и прав, и сейчас по большей части дело обстоит именно так, только стоило бы тебе сказать это как-нибудь в другом тоне.

Подобно тому как ты относишься к этому «счастью», я отношусь к другому явлению, сопутствующему «убежденной печали», я имею в виду самодовольство, без которого эта печаль вряд ли когда-нибудь проявляется. Я немало думал над этим, последний раз после статьи

Манна о Палестрине в «Нойе рундшау»[51]. Манн один из тех, кто я все проглатываю с жадностью. И эта статья — прекрасное блюдо, но из-за изобилия плавающих там и образцово поданных салусовских<sup>2</sup> волос им лучше восхищаться, чем есть. Похоже, когда ты печален, надо, чтобы взгляд на мир стал еще печальнее, потянуться, как женщины после купания.

Конечно, после Комотау я приеду. Не пойми неправильно мой страх перед визитами. Я не хочу, чтобы после долгой дороги и немалых издержек кто-нибудь приезжал в здешнюю слякоть, в глухую (для постороннего) деревню, с поневоле неустроенным бытом, множеством мелких неудобств и даже неприятностей, чтобы разыскать меня, меня, то скучающего (что для меня еще не самое худшее), то с нервами на взводе, то испуганного пришедшим, или не пришедшим, или ожидаемым письмом, то успокаивающегося, когда сам напишу письмо, то чрезмерно озабоченного собой и своими удобствами, то готового самого себя изрыгнуть, как что-то опротивевшее, и так далее — кругами, какие проделывает пудель вокруг Фауста. Но если ты будешь просто проезжать мимо, по пути, не ради меня, а ради кого-нибудь из обитателей Комотау — могу ли я желать лучшего? Впрочем, съездить в Цюрау вряд ли удастся, ведь для этого тебе надо в воскресенье своевременно выехать в Комотау (я пока знаю расписание лишь приблизительно), чтобы в полдень оказаться в Цюрау. Тогда в воскресенье вечером можно очень удобным поездом выехать в Прагу, оставаться на ночь я бы не рекомендовал, так как в понедельник вам очень рано придется выезжать (если ты хочешь попасть в Прагу в полдень), кроме того, повозку в это время получить довольно трудно, ведь столько сейчас работы на полях! Кстати, может, и я поеду с вами вместе в Прагу, одному мне, пожалуй, не справиться, мне страшно уже думать даже о вполне любезных письмах со службы, а тем более представить себя на службе.

Так что мыслю я себе все так: в субботу я сажусь в Михелобе в ваш поезд, в воскресенье мы вместе едем в Цюрау, а вечером вместе в Прагу.

То, что ты говоришь о необходимости выздоравливать, прекрасно, но утопично. Задачу, которую ты ставишь передо мной, мог бы, наверное, выполнить ангел над супружеским ложем моих родителей или, еще лучше, над супружеским ложем моего народа, если считать, что он у меня есть.

Желаю всего наилучшего роману. Ты кратко упоминаешь о нем, но за этим, похоже, стоит что-то большее. Он может оказаться противовесом, который хоть как-то выправит тяготы моей службы в Праге.

Сердечный привет тебе и твоей жене. Не скажу, что настроение у меня, как в кабаре, но оно таким никогда и не было. А у вас? Но для меня даже с самим кабаре отныне покончено. Куда мне забиться с моими легкими, подобными детскому пистолету, когда во весь голос гремят «пушки»? Впрочем, это уже давно так.

Франц

Напиши мне, пожалуйста, пока еще есть время, когда ты в воскресенье освободишься в К., чтобы знать, поедем ли мы все-таки в Цюрау, должна ли нас захватить повозка и как мне быть с моим багажом.

[Цюрау, середина октября 1917]

Дорогой Макс,

я постараюсь как можно меньше тебе мешать, если уж не могу уменьшить всего прочего.

Номер «Акциона»[52] я получил, как и разное другое, я потом привезу тебе все вместе. Всякая посылка для меня большая радость. Впечатление от «Марша Радецкого»[53] было, конечно, не такое, как в тот раз, когда ты читал его вслух, почти как стихи. И все-таки там действительно чего-то не хватает. Может, дело в сокращениях? Это, наверное, не на пользу. Восхищение сменяется ненавистью, но, как оно растет, не видишь. Может, не хватает пространства для перехода чувства в противоположное, может, не хватает сердца.

Фельетон Тевелеса[54] адресован, должно быть, Ку[55], который, кстати, недавно с довольно мелочным остроумием написал о Верфеле, разумеется, в виде лекции о нежности. Трудно понять, в каком состоянии духа рождаются такие вещи. А ведь я сидел за столом с этой загадкой, совсем рядом.

Я взял себе на особую заметку, что Гёте «не был фон Штайном». Но печальнее всего это все, наверное, для старой дамы[56], которая полагала, будто пишет меланхолическую книгу о госпоже фон Штайн, и которой никто здесь не сказал, что все это время она, должно быть, ничего не видя от слез, занималась штанами Гёте.

Комотауский комитет несколько затруднил мне поездку в Прагу, тем не менее я, конечно, еду, но вначале посылаю Оттлу, чтобы она посмотрела, «каков уровень воды». Я приеду потом, в конце месяца.

Передовая статья в «Зельбствер», судя по темпераменту, силе протеста и смелости, почти могла бы принадлежать тебе, лишь некоторые места заставляют меня удержаться от такого утверждения. Может, это Хельман?

Сердечно,

Франц

[Цюрау, начало ноября 1917]

Дражайший Макс,

сегодня у нас были гости, которых я никак не мечтал увидеть, девица со службы (ну, ее пригласила Оттла), но к ней в придачу еще и господин со службы (ты, может, помнишь, мы шли однажды ночью с какими-то гостями по набережной, я повернул за одной парой — так вот, это была та самая), сам по себе человек прекрасный, приятный мне и интересный (католик, разведенный), но все дело в

неожиданности, ведь даже гости, которые предупреждают о приезде, достаточно неожиданны. Я к таким вещам не готов и испытываю поочередно мимолетную ревность, большую неловкость, беспомощность перед девушкой (я советовал ей, не слишком настаивая, выйти за этого мужчину), наконец, ужасную тоску от всего этого дня, не говорю уж о весьма мерзких переходных чувствах; при прощании было и немного грусти, чувство полнейшей бессмысленности, иногда желудочные приступы или что-то в этом роде. В общем, был день приема, как обычно, то есть поучительный, но это однообразное поучение, и не стоит его повторять слишком часто.

Я рассказываю это лишь ради одного обстоятельства, связанного с нашими разговорами, ради этой самой «мимолетной ревности». Это был единственный проблеск за весь день, миг, когда у меня был противник, а так — «один в поле», идущем под уклон.

Во Франкфурт[57] я ничего не посылаю, я не чувствую, что такие вещи для меня; если я пошлю, то сделаю это из одного тщеславия, не пошлю, тоже будет тщеславие, но не только оно, а значит, так будет лучше. Вещицы, которые я мог бы послать, для меня не очень существенны, я ценю лишь мгновение, когда их писал, — могут ли они, обреченные рано или поздно на небытие, в один-единственный вечер принести успех актрисе, которая ради своей же пользы найдет что-нибудь гораздо более эффективное? Это бессмысленная трата сил.

Одышка и кашель. Ты, вообще-то, прав, но я после Праги слежу за собой гораздо внимательнее, чем прежде. Может, где-нибудь в другом месте я бы больше лежал на воздухе, там был бы более здоровый воздух и т. п., но — и это очень существенно для состояния моих нервов, а оно — для моих легких — нигде я бы не чувствовал себя так хорошо, нигде меня бы так мало не отвлекали (в том числе и гости, но и они каждый по отдельности, вторгаясь в мирную жизнь, не оставляют особенного следа), нигде я не переносил бы жизнь в домах и отелях с меньшей неприязнью, желчностью, нетерпеливостью, как здесь, у моей сестры. В моей сестре есть нечто чужеродное, к чему я в этой форме скорее могу приспособиться. («Страх за свою личность», который Штекель когда-то приписал мне и множеству таких же больных, мне действительно присущ, но, даже если не равнять его со «страхом за спасение своей души», он кажется мне весьма естественным; ведь всегда остается надежда, что однажды тебе понадобится «твоя личность» или надо будет ею воспользоваться, так что следует ее держать наготове.) Ни за одного чужеродного человека я не держусь так, как за мою сестру. К ней я могу приспособиться; к отцу, который повержен, я приспособиться не могу. (Сделал бы это с радостью, когда он стоял бы на ногах, но не имел права.)

Ты читал мне три отрывка из романа. Музыкальность первого, прозрачность и сила третьего осчастливили меня без всяких оговорок (в первом немного режут глаз по-настоящему «еврейские» места, как если бы в темном зале иногда быстро зажигали и гасили все огни). Всерьез споткнулся я лишь на втором, но не по тем причинам, которые ты упоминаешь. Игра в шар — еврейская ли это игра в твоём понимании еврейского? Еврейская разве что в том смысле, что Руфь для себя играла в другую игру, но об этом ведь речи не идет. Если строгостью этой игры мучишь себя и любимого, тогда я ее понимаю, но, если речь идет о самостоятельном убеждении, не имеющем прямой причинной связи с Руфью или с твоими жизненными обстоятельствами, тогда оно означает отчаяние от того, что Палестину, как это и происходит, дано увидеть лишь во сне. Ведь все в целом почти военная игра, основанная на знаменитой идее прорыва, что заставляет вспомнить о Гинденбурге. Может, я неверно тебя понимаю, но, если нет бесчисленных возможностей освобождения, особенно тех, что существуют в каждый отдельный миг нашей жизни, тогда, наверное, нет вообще никаких возможностей. Или я действительно что-то не так понимаю. Игра ведь продолжается постоянно, ошибочный шаг в каждое мгновение означает лишь потерю мгновения, но не всего. Тогда так и нужно было бы сказать, хотя бы из предупредительности, которая присуща больничным сестрам.

Франц

От Вольфа пришел расчет за 102 экземпляра «Бетрахтунг», 16/17, неожиданно много, однако денег, обещанных через тебя, он не прислал, и за «Сельского врача» тоже.

Прилагаю твою диетическую карту, которую ты забыл в своей тетради. Пожалуйста, Макс, посылай все время «Юдише рундшау»[58]. Кстати, Оттла на две недели едет в Прагу, а меня оставляет на пансионе.

[Цюрау, середина ноября 1917]

Дражайший Макс,

что бы я ни делал, будь то самое простое и самое естественное: в городе, в семье, профессии, обществе, любовных отношениях (это, если хочешь, можешь поставить на первое место), в отношениях с народом, реальных или желанных, — во всем этом я чувствую себя незащищенным, причем до такой степени — у меня по этой части взгляд острый, — в какой это не бывает ни у кого. По сути, это детское убеждение («нет никого подлее меня»), которое потом опровергается новой болью, но в том смысле, о котором говорю я (речь здесь уже не о подлости и не о самообвинениях, а о внутреннем факте незащищенности), оно подтверждалось и подтверждается. Я не собираюсь хвастаться страданием, которое сопровождало эту непрожитую жизнь, к тому же, как оглянешься (и это с давних пор на всех этапах), оно кажется незаслуженно мелким по сравнению с обстоятельствами, давлению которых приходилось противостоять, хотя в то же время и слишком большим, чтобы можно было переносить его дальше, или если и не слишком большим, то, во всяком случае, слишком бессмысленным. (Думается, из такой бездны позволительно спросить о смысле.) Ближайшим выходом, который напрашивался, наверное, уже со времен детства, было не самоубийство, но мысль о нем. Что касается меня, то от самоубийства меня удерживала не какая-то особым образом сконструированная трусость, а лишь мысль, которая тут же оборачивалась бессмысленностью: «Ты, ничего не способный сделать, хочешь сделать именно это? Как ты смел даже подумать об этом? Даже если ты можешь себя убить, ты в каком-то смысле уже не должен этого делать». И т. д. Потом постепенно пришло еще и другое понимание, я перестал думать о самоубийстве. То, что мне предстояло и что я видел перед собой ясно, вопреки всем смутным надеждам, отдельным мгновениям счастья, раздутому тщеславию (это «вопреки» удавалось мне как раз настолько редко, насколько требовалось, чтобы жить дальше), была несчастная жизнь, несчастная смерть. «Как будто этому позору суждено было пережить его» — вот, пожалуй, ключевые слова романа «Процесс».

Теперь я вижу новый, до сих пор в такой полноте казавшийся невозможным выход, который своими силами мне бы не найти (ведь туберкулез нельзя отнести к «моим силам»). Я только вижу его, только думаю, будто вижу его, но пока по нему не иду. Он заключается в том, он заключался бы в том, чтобы не только частным образом, не только такими репликами в сторону, но открыто, всем своим поведением я признал бы, что не могу здесь себя защитить. Для этого мне не надо делать ничего другого, как только со всей

решительность и волю за собой дальше черты моей прошлой жизни. Ближайшим результатом была бы возможность сохранить себя, не растратиться на бессмысленности, сохранить свободный взгляд.

В таком намерении, даже если бы оно осуществилось — а этого нет, не было бы ничего «достойного удивления», лишь некоторая последовательность. Когда ты называешь это достойным удивления, мне, конечно, лестно, тщеславие справляет оргии, но я-то лучше знаю. А жаль. Даже такой пустяк, как карточный домик, валится, когда строитель на него подует. (К счастью, неудачный пример.)

Твой же путь мне видится, если тут что-то можно видеть, совсем другим. Ты себя защищаешь, вот и защищай. Ты можешь сдерживать сопротивление, я — нет или, во всяком случае, еще нет. Мы сблизимся еще больше потому, что оба «идем»; до сих пор я слишком чувствовал, что я для тебя обуза.

То, что ты называешь «подозрением», кажется мне иногда лишь игрой избыточных сил, которым ты, в силу пока еще недостаточной сосредоточенности, не даешь проявиться в твоём творчестве или в сионизме, они ведь суть одно. Так что в этом смысле, если тебе угодно, «подозрение обоснованно».

Я, конечно, согласен с тем, что твоя жена прочла рассказ[59], но не с самим мероприятием. Возражение то же, что и против Франкфурта. Ты вправе выступить, я, а возможно, и Фухс[60], и Фейгль (адрес «Союз») вправе промолчать и должны это право использовать.

Как ты относишься к «Даймону»[61]? Напиши мне, пожалуйста, адрес Верфеля. Если какой-нибудь журнал привлекал меня долгое время (сейчас-то, конечно, любой), то это был журнал д-ра Гросса, поскольку мне кажется, он, по крайней мере в тот вечер, словно бы возник из огня какой-то личной близости. А наверное, самое большее, чем может быть журнал, — так это знаком устремлений, порожденных личной общностью. Но «Даймон»? О нем я ничего не знаю, кроме портрета редактора в «Донауланд»[62].

Если теперь добавить к этому, что не так давно я во сне целовал Верфеля, я как раз ужоу в книгу Блюэра[63]. Но о ней в другой раз. Она меня взбудоражила, я из-за нее два дня не мог читать. Вообще же она похожа на другие работы психоаналитического толка тем, что в первый момент удивительно насыщает, а вскоре чувствуешь себя таким же голодным, как и прежде. С точки зрения психоанализа это «конечно» очень легко объяснить: быстрое вытеснение. Царский поезд пропускают скорей.

Что еще: здоровье отличное (даже профессор не говорил о юге), гости ожидаются милые и добрые, насчет подарков большой вопрос, скоро будет опровержение.

Франц

Нет, даю опровержение сразу, слишком оно очевидно. Мы «дарим» исключительно для своего удовольствия, а именно чтобы причинить вам вред — как эмоциональный, так и материальный. Ибо если бы мы не «дарили», а продавали, мы бы, конечно, послали гораздо больше, чем прежде, а вы бы гораздо больше заработали на разнице между здешними и пражскими ценами, чем стоит «подарок», да к тому же имели бы больше продуктов. Но мы этого не делаем, мы вам вредим и «дарим», ни о чем не думая, потому что нам это приятно. Так что терпите. Мы ведь посылаем совсем немного и будем посылать все меньше.

[Цюрау, 24 ноября 1917]

Дорогой Макс,

времени свободного много, но для писем его странным образом не хватает. Суди сам: с тех пор как началась напасть с мышами, о которой ты, наверное, уже слышал (это был долгий перерыв, надо было покрасить ящик и горшок), у меня, в сущности, нет комнаты. Я могу там разве что переночевать, и то только с кошкой, иначе невозможно. Сидеть же там, слыша все время шуршание то за корзиной, то возле окна (они без конца скребутся и скребутся), у меня нет никакого желания, да и писать или читать, одновременно следя за тем, чтобы кошка, вообще-то весьма славное ребячливое животное, не прыгнула на колени или чтобы вовремя посыпать золой, когда она справит свои разнообразные дела, — все это весьма хлопотно; словом, я не люблю и с кошкой оставаться наедине, легче терпеть, когда при этом есть люди, а так довольно неприятно даже раздеваться перед ней, делать гимнастику, ложиться в кровать.

Так что мне остается лишь комната сестры, очень приятная комната, когда видишь ее впервые с порога, она может испугать (первый этаж, окна зарешечены, стены осыпаются), хотя пугаться нечего, и все же, когда хочешь вечером писать, возможности для этого, конечно, почти нет, поскольку комната общая. Днем же (а когда завтракаешь в постели, поздно встаешь, и на первом этаже уже почти в два часа темно, дни так коротки), днем же — это значит, не более трех часов, при условии, что не очень облачно, в таком случае времени еще меньше, а зимой его становится и того меньше, я лежу на воздухе либо у окна и читаю; это время, когда хочешь в светлое время суток что-то извлечь из книги (а тем временем еще Гонвед обыгрывает Пиаведельту, из Тироля нанесен удар, захвачена Яффа, встречаются Хантке, выступление Манна имеет большой успех, а Эссига нет, Ленина зовут не Цедерблум, а Ульянов и т. п.), это время, одним словом, не хочется тратить на писанину, и, пока с этим нежеланием справишься, на улице уже темнее, и уже едва различаешь гусей в пруду, этих гусей (о них я бы мог рассказать много) можно назвать весьма отвратительными, если бы еще отвратительнее с ними не обращались. (Сегодня один забитый фаршированный гусь лежал на блюде, напоминая своим видом мертвую тетушку.)

Словом, времени нет, это можно бы доказать, остается только доказать еще, что так и должно быть. Так и должно быть. Я понимаю это не всегда, тут моя ошибка, и я всегда ее осознаю, бывает, даже на мгновение раньше, чем совершаю ее. Придерживайся я старых принципов: мое время — вечер и ночь, было бы плохо дело, особенно еще из-за трудностей с освещением. Но поскольку я их уже не придерживаюсь, я ведь даже не пишу, можно и не бояться часов вечерней и ночной тишины без мышей, при свете и не искать их, свободное время до обеда — в постели (едва утром выставишь кошку, уже где-то за шкафом начинает скрестись. Мой слух стал в тысячу раз острее и во столько же раз неуверенней, стоит царапнуть пальцем по простыне, и я уже сомневаюсь, не мышь ли это. Но мыши от этого не становятся фантазией, кошка приходит ко мне вечером худая, а утром уходит растолстевшая), раз-другой загляну в книгу (сейчас это Кьеркегор), вечером прогулка по сельской улице, потребность в одиночестве удовлетворяется, хочется только, чтоб оно было еще полней, внешних причин жаловаться нет, разве что унижительно сознавать, как о тебе все заботятся и для тебя стараются, в то время как



ты, на вид вроде и не большой, оказываешь тем не менее совершенно неспособен ни к какой приличной работе. Последнее время я лишь чуть-чуть пробовал работать в огороде и чувствовал себя после этого довольно хорошо.

Оттла в Праге, наверное, она мне подробно расскажет о венском вечере. Лучшего, чем полный зал молодежи, тебе нечего и желать. Я тоже ей доверяю, хотя сам в молодости этого не имел, и это могло быть просто достоянием молодости, не думающей о будущем, просто беззаботной молодежи. Как должно быть прекрасно, когда есть возможность проявить это доверие, как, например, было у тебя в последний раз в Комотау, где мне оставалось (ты об этом писал) только умиляться.

Франц

Сейчас я чувствую, что вчера вечером отнесся ко всему, то есть к своему внутреннему состоянию, слишком легковесно и поверхностно.

Пришла пятая посылка (Рундшау, Хиллер, Марсиас)[64].

Что делает Оскар? Я ему совсем не пишу, и он не шлет мне обещанного романа. Но к Новому году Оскар на какое-то время приедет.

Новость: все утро я прислушивался, а теперь вижу возле дверей свежую дыру. Значит, и здесь мыши. А кошке сегодня нездоровится, ее все время рвет.

[Цюрау, начало декабря 1917]

Дорогой Макс,

просто случайность, что я отвечаю только сегодня, а все опять дела с комнатой, освещением и мышами. Но нервность и обмен между городом и деревней тут ни при чем. Перед мышами у меня попросту страх. Исследовать его происхождение — дело психоаналитика, не мое. Конечно, этот страх, как и страх перед насекомыми, связан с неожиданным, непрошеным, неизбежным, в какой-то мере беззвучным, затаенным, непостижимым появлением этих тварей, с чувством, что они прорыли в стенах сотни ходов и там выжидают, что ночь, где они хозяева, и маленькие размеры делают их такими далекими и потому еще менее досягаемыми. Особенно способствует страху маленький размер, когда, например, представишь себе, что может существовать животное, на вид такое же, как свинья, то есть само по себе забавное, но при этом маленькое, как крыса, и оно выходило бы, приюхиваясь, из дыры в полу — страшно даже вообразить.

С некоторых пор я нашел довольно хороший, хотя и только временный выход. Ночью я пускаю кошку в пустую соседнюю комнату, чтобы не пачкала мою (в этом отношении трудно найти взаимопонимание с животным. Тут, видимо, не обойтись без недоразумений, ведь если станешь кошку бить или вразумлять как-нибудь иначе, она начнет понимать, что тебе не нравится, когда она справляет нужду и надо тщательнее поискать для этого место. Какой же она находит выход? Она выбирает, скажем, такое место, чтоб было, во-первых, темное, затем свидетельствовало о ее преданности мне и, кроме того, разумеется, было бы для нее удобным. Случайно, с человеческой точки зрения, это оказывается внутренность моей домашней туфли. Одним словом, недоразумение, и таких недоразумений оказывается столько, сколько можно насчитать ночей и потребностей) и чтобы не прыгала на кровать, но при этом я могу быть спокоен, что, если что-то случится, можно кошку впустить. Эти последние ночи прошли тоже спокойно, во всяком случае, мыши явным образом себя не проявляли. Сну, впрочем, мало способствует, когда ты берешь на себя часть кошачьих обязанностей, когда у тебя наостроены уши, настроено зрение или когда ты прислушиваешься, присев на кровати, но так было только в первую ночь, с этим уже лучше.

Я помню, ты мне уже много раз рассказывал про какие-то особенные ловушки, но сейчас они уже не нужны, да я их, собственно, и не хочу. Мышеловки заманивают и истребляют мышей, убивая их. Кошки же прогоняют мышей одним своим присутствием, может быть, даже одним фактом, что ты их держишь, поэтому ими тоже не стоит пренебрегать. Это особенно было заметно в первую кошачью ночь, которая последовала за большой мышинной ночью. Хотя я бы и не сказал, что «затихли, как мышки», но ни одна больше не бегала вокруг, кошка сидела в углу возле печки, мрачная из-за того, что ей пришлось переменить место, и не шевелилась, но этого было достаточно, это действовало, как присутствие учителя, только кое-где по дырам еще перешептывались.

Ты так мало пишешь о себе, вот я и решил отомстить тебе мышами.

Ты пишешь: «Я жду избавления». К счастью, твое сознательное мышление и твои действия не совсем совпадают. Кто же не чувствует себя «больным, виноватым, бессильным» в единоборстве со своей задачей, больше того, задачей, которая сама себя решает? Кто может избавиться, не будучи сам избавлен? Ведь и Яначек (кстати, моя сестра просит его письмо) бегаёт по Праге в день своего концерта. Впрочем, ты не нытик, и дело просто в моменте. А ту историю из Талмуда я бы рассказал иначе: праведники плачут, потому что подумали, как много страданий осталось позади, и вдруг они увидели, что это пустяки по сравнению с теми, что еще предстоят. А неправедные — есть ли такие?

Ты ни словом не ответил на мое предпоследнее письмо и адрес Верффеля не прислал, поэтому придется тебе теперь, пожалуйста, самому послать мое письмо Верффелю. Приглашение от «Анбруха»[65] — это твоя инициатива?

Франц

[Цюрау, штемпель 10.XII.1917]

Дорогой Макс,

ты не так понял: кроме первой дикой ночи, больше бессонных ночей из-за мышей не было. Вообще я, может, сплю не особенно хорошо, но в среднем по меньшей мере не хуже, чем в лучшие пражские ночи. И «настороженное зрение» означает лишь, что я безуспешно пытался, как кошка, разглядеть мышей в темноте. А теперь во всем этом, по крайней мере пока, нет нужды, потому что ящик с песком вмещает почти все, что раньше кошка рассыпала по коврам и канале. Чудесно, когда приходишь с животным к взаимопониманию. Вечером она идет, попив молока, как благовоспитанный ребенок, к ящику, забирается туда, изогнувшись, потому что ящик маловат, и делает свои дела.

Так что с этим в данный момент никаких забот. Санаторий «без мышей»: «без мышей» означает одновременно «без кошек», впрочем, это сильно сказано, хотя и не так сильно, как слабо слово «санаторий», поэтому мне туда и не хочется. Со здоровьем у меня также в порядке: выгляжу сносно, кашляю, насколько это удастся, реже, чем в Праге, бывают даже дни, я этого не замечаю, когда я вовсе не кашляю, одышка, правда, сохраняется, то есть при моей обычной бездельной жизни она вообще незаметна, даже когда я гуляю, разве что если приходится на ходу разговаривать с кем-нибудь — это оказывается уже слишком. Но это при моем состоянии явления побочные, на которые и профессор, когда я ему про это рассказываю, и д-р Мюльштейн особого внимания не обращают. Не знаю, почему именно сейчас надо решать вопрос с санаторием, это ни к чему, но вопрос о лечебном заведении будет решаться, потому что, когда я теперь приду к профессору, он захочет послать меня на зиму в какое-нибудь заведение, а я не пойду или буду так бесконечно медлить, что из директорского окна это можно будет считать подвижностью. Однако удовольствия в этом мало, прежде всего потому, что они действительно расположены ко мне, а некоторые вещи иногда объяснить невозможно, особенно когда объясняет другой.

Другое недоразумение: я не думаю тебя утешать, сомневаясь в твоей болезни. Как я могу в ней сомневаться, если ее вижу. Я поддерживаю тебя решительнее, чем ты сам, хотя бы потому, что вижу, какую угрозу твоему достоинству, твоему человеческому достоинству таит в себе то, что ты так сильно страдаешь из-за болезни. Конечно, легко так говорить во времена сравнительно спокойные, и ты сделаешь точно так же, но сравнение между моим «раньше» и твоим «теперь» покажет все же большую разницу. Если я отчаялся, то это было безотчетно, моя болезнь и мое страдание-от-болезни слились в одно, кроме этого, у меня почти ничего не оставалось. Но с тобой другое дело. В твоём случае нельзя сказать: может быть, скорее следует сказать: не мог приступ быть столь силен, чтобы ты ему так поддался, как ты это делаешь или как тебе, я думаю (не для того, чтобы утешать, просто я так думаю), кажется, будто ты делаешь; тебе просто кажется, что это так.

Не думаю, что какой-нибудь мой совет мог бы дать тебе больше тех ничтожных и неопределенных слов, что я сказал. Впрочем, я бы с удовольствием посидел с тобой часок-другой в твоём бюро, там это бывало особенно славно, и послушал бы, как ты читаешь, хотя результатом была бы радость только для меня, не зависящая от того, хорошо или худо то, что ты прочел, но никакого определенного совета, никакого совета, который можно было бы конкретно использовать. Таких советов я никогда не мог бы дать, а теперь не могу ещё и по другим причинам. Думаю, такие советы могут давать лишь специалисты по части педагогики самообуздания, от которой, мне кажется, все меньше толку. Мне вспоминается, правда весьма смутно, один пример из Фёрстера[66], показывающий, как можно неумолимо внушить ребенку сознание, что не только любой человек должен, войдя в комнату, закрывать за собой дверь, но непременно именно этот ребенок эту дверь. Я перед такой задачей пасую, но считаю, что перед ней и нужно пасовать. Конечно, вдолбить способность закрывать дверь — непростое дело, но оно ещё и бессмысленное, и может быть, по крайней мере ни к чему. Я хочу этим сказать примерно вот что: наверное, можно советовать, но лучше не отвлекать. Макс, мне тебя не хватает по-прежнему, если не больше, но мне спокойнее от сознания, что ты живешь, что ты у меня есть, что от тебя приходят письма. К тому же я знаю, что тебе дано счастье романа, хотя это тебя отнюдь не извиняет.

Франц

(Примечание на полях:) Насчет приглашения «Анбруха» я спрашиваю потому, что иначе не мог бы объяснить, откуда они знают мой адрес в Цюрау. Значит, это ты им сказал?

Пожалуйста, своевременно сообщи, когда ты едешь в Дрезден. Чтобы я знал, когда ехать в Прагу.

[Цюрау, 18/19 декабря 1917]

Дорогой Макс,

я давно бы поблагодарил тебя за «Эсфирь», но она прибыла как раз в дни, когда я чувствовал себя до того скверно — бывает и такое, — как мне в Цюрау ещё не было. Я ощущаю такую тревогу, приступы тревоги, которая не утихнет, пока история не повернет вспять. Но это страдание иного рода, чем у тебя, оно ведь никого, кроме меня, не затрагивает, так что, возможно, — надеюсь — постепенно перестанет ощущаться.

Значит, ты продвинулся в том направлении, где я уже никаких успехов не ожидал. Но я по-прежнему считаю, что решения тут надо ждать не со стороны и не от женщин. Ибо как бы то ни было, я не уверен, что ты будешь кого бы то ни было непременно любить, ты будешь метаться туда-сюда, допустим, ты предпочтешь Руфь, но сделать так, чтобы выбор между этими двумя женщинами был в твоих руках, полностью от тебя зависел, ты не можешь. Страдаешь ты, видимо, не из-за места, где это происходит, здесь ты плачешь об одном, там о другом, и если уж подобная определенность не приносит тебе покоя, то и никакая не принесет. Не значит ли это, что ты вообще изгнан из этого круга. Конечно, такое толкование слишком в моем духе.

Женщина делает больше, чем в человеческих силах? Конечно. Или хотя бы больше, чем в мужских, но и этого, разумеется, сверхдостаточно.

«Эсфирь» я читал Оттле в поезде (тоже ведь достижение для моих легких, разве нет?). В целом подтвердилось пражское впечатление, то есть я восхищен большей частью пролога, почти всем, что относится к Амману, — тут получается большой перерыв, так что я разрываю начатый лист, главным образом из-за перерыва. Наша фройляйн была сегодня во Флехау и сейчас, вечером, принесла почту, которую иначе я получил бы только завтра: главное в ней — твои подарки, печатные материалы, открытка, о которой нечего сказать (Верфель всегда так вспыльчив, и твое доброе ко мне отношение в любом случае играет роль), далее, газета и «Зельбтвер», затем длинное письмо от моего старшего инспектора (с которым я в весьма добрых отношениях, он тут меня навещал) и, наконец, из-за этого и получился перерыв, письмо от Ф., которая сообщает, что приедет на Рождество, хотя, казалось, мы уже согласились, что это во всех отношениях бессмысленная и даже вредная поездка. По разным причинам, перечислять которые нет смысла, я, хоть и собирался приехать в Прагу только после Рождества, приеду, наверное, в эту субботу к вечеру.

Вернись к «Эсфири», теперь можно.

Сосищен вторым действием, оно меня проняло, и всем, где участвуют евреи. Все возражения по мелочам, о которых ты знаешь, остаются в силе, поскольку я могу их для себя обосновать.

Но с другой стороны, я ведь также заранее знал, что прочту пьесу иначе, чем в плохом беспокойном состоянии в Праге. А в результате понял пьесу, пожалуй, хуже, и одновременно для меня еще очевидней стала ее важность. Я хочу сказать, что ухватил это сразу, примерно в том смысле, как ухватываются за рычаг, но как художественное произведение я не ухватил его, и в этом смысле мое понимание пьесы недостаточно. Может, дело просто в том, что трудно объяснить, почему какая-то невольная неправда есть в ситуации, когда три игрока, Амман, царь и Эсфирь, составляют единство, столь же искусственную, сколь и искусную троицу, взаимопроникновение частей которой порождает такие возможности, напряжения, прозрения, последствия, что назвать их истинными или, вернее, безусловно необходимыми для истории души можно лишь отчасти, хотя и по большей части. Один пример, всего один, именно потому, что я не все схватываю, возможно, ошибочный пример: Амман и Эсфирь появляются одновременно, в один и тот же вечер, в этом вообще есть что-то глубоко марионеточное, как и во всей пьесе (в отчаянии последнего акта, например, которое я забыл упомянуть, перечисляя разные места). И то, что Амман семь лет сидит, приглядываясь, за царским столом, — это весьма прекрасно и весьма бесчеловечно. Но действительно ли они появляются лишь в этот вечер? Царь уже прожил немалую жизнь, он грешил, страдал, боролся с собой и все же проигрывал, может быть, здесь какой-то более глубокий уровень, чем в том, что происходит сейчас, может, если посмотреть с еще большей высоты, это не имеет значения, во всяком случае, без Аммана и Эсфири это было бы невозможно; повторные посещения грота как будто намекают, что царь уже в первом акте вообще знаком с местом, где происходит все действие, и все понимает, как будто это старая, уже игранная игра, а в прощальном разговоре последнего акта, хоть там и не до конца все прояснено, сказано и обсуждено больше, чем произошло в пьесе. Но все, что не договорено в обоснование этой сцены, отзывается снова в истории тысячелетия, во втором акте. В результате мне кажется, что произведение искусства от этого даже выигрывает, открывается некий труднодоступный ложный путь, по которому я не могу идти и по которому, если вникнуть, что-то во мне отказывается идти, потому что это жертва, принесенная искусству и во вред себе. Во вред, я хочу сказать, поскольку в твоём романе (как ты написал однажды недавно) твоё существо троится и каждая часть жалеет и утешает другую. Здесь, видимо, возникает вредное противопоставление искусства и подлинной человечности. С одной стороны, требуется известная художественная справедливость (которая, например, заставляет тебя доводить до финала и даже видеть будущее царя, с которым на самом деле все давно решено, или побуждает тебя, например, сделать так, чтобы Эсфирь, несущая в себе как-никак мир, в рамках пьесы маленькая и невежественная — какой она ведь и должна быть, хотя в перспективе пьесы все обретает другой смысл, — идет возле Аммана и, не изменяя, меняется по существу, благодаря его умерщвлению), а с другой — лишь решительное бытие.

Слишком поздно и слишком много. Мы ведь скоро увидимся. Впрочем, говорить о твоей вещи я способен еще меньше, чем писать.

Франц

(Примечание на полях:) Мышеловки уже заказаны. Да, анбруховский адрес Фухса, он писал мне о «дрянном „Анбрухе“», в который приглашал меня. Я уже давно объявил этим людям — поскольку мне понравилось писать циркуляры, — честно объявил, что не буду сотрудничать.

[Прага, конец декабря 1917]

Дорогой Макс,

вот рукописи (других у меня нет) для твоей жены, больше никому не показывай. Сделай мне, пожалуйста, копию за мой счет с «Верхом на ведре» и «Старым листом» и пошли мне, они мне нужны для Корнфельда.

Романы я не посылаю. Зачем шевелить старые опыты? Только потому, что я их до сих пор не сжег? К тому времени, как (нет, если: как раз пришло письмо от Ф., очень благодарит за твою «Эсфирь», спрашивает, надо ли благодарить тебя лично), если я вскоре приеду, так оно, наверное, и случится. Какой смысл ворошить эти работы, не удавшиеся «даже» в художественном отношении? Просто ради надежды, что из этих вещей составитя нечто целое, какая-то апелляциянная инстанция, к груди которой я смогу припасть, если заставит нужда. Я знаю, что это невозможно, что с той стороны не будет никакой помощи. Что же мне делать с этими вещами? Если они не могут мне помочь, должны ли они мне вредить, что наиболее вероятно в таком случае? Город изнуряет меня, иначе бы я не сказал, что привезу бумаги.

Еще совсем коротко о вчерашнем вечере: мне, не имеющему отношения к собственной боли, дело представляется примерно так: главный упрек твоей жены коснулся, может быть, чего-то более существенного, чем твой.

Уже слишком поздно, мне еще надо на службу, я очень скоро напишу тебе про Цюрау, может, это и хорошо, что я как раз сейчас не участвую в вашем разговоре.

Еще одна просьба: пришли мне бланк военного уведомления, которое, по-моему, надо оформить в январе.

[Почтовая карточка, Цюрау, начало января 1918]

Дорогой Макс,

сегодня я лишь секретарь Оскара и чувствую счастливую безответственность:

«Ты, стало быть, можешь уже назначить день, когда захотел бы прочесть конец романа мне и Феликсу. Многообещающие рассказы Франца о всяческих красотах еще сильней прежнего разожгли мое любопытство. Я прибуду в воскресенье, стало быть, готов слушать в любой вечер, начиная с понедельника. Может, ты мне напишешь открытку после того, как договоришься с Феликсом. Не стану даже тебе рассказывать, как здесь хорошо и спокойно, раз у тебя нет возможности к нам присоединиться». Мне (теперь это я, Франц, который скоро напишет тебе подробнее) недавно при чтении статьи о Трельче[67] пришло на ум, что положительная концовка романа требует,

собственно, чего-то более простого и близкого, чем мне виделось сначала, а именно сооружения церкви, лечебницы, чего-то такого, что произойдет почти неизбежно и будет строиться вокруг нас уже по мере того, как мы будем распадаться.

Нам тут прекрасно вместе с Оскаром.

Франц

[Цюрау, середина января 1918] Воскресенье

Дражайший Макс,

пока тут был Оскар, я тебе не писал, отчасти потому, что привык к одиночеству (не к тишине, к одиночеству), так что почти не мог писать, отчасти потому, что о Цюрау он скоро тебе расскажет сам. Он в чем-то стал мне яснее, жаль, что человеку недостает силы всегда и во всем с ясным лицом обращаться к ясности. Ты, несомненно, судил об Оскаре в целом правильнее меня, но в частности ты, мне кажется, ошибаешься. Роман во многих местах удивителен, до сих пор в изменившейся манере Оскара я замечал слишком много поверхностного, тут этого нет, скорее есть правда, но она пробивается в крайне напряженных и все-таки тесных рамках, а отсюда усталость, ошибки, слабости, крики. Я был бы очень рад, если бы Цюрау, в чем я, однако, сомневаюсь, пошел ему хоть немного на пользу, рад был бы и за него, и за себя. Может, ты мне про это напишешь.

За «таблички», акцию и формуляры спасибо, можно, я на этот раз подарю «таблички» Ф.?

Наш последний вечер прошел нехорошо, я был бы рад, если бы ты после этого мне написал. Нехорошим вечер был потому, что я (по природе беспомощный, но смилившийся с этим) видел твою беспомощность и для меня это было почти невыносимо, хотя я пытался объяснить эту беспомощность, говоря о себе, в частности, что, когда первый раз пойдешь под старым ярмом, шаг вначале бывает неуверенным. Таким неуверенным было и твое вышагивание по комнате туда-сюда, ты и говорил неуверенно. А с другой стороны, я подумал, ведь у твоей жены столько же прав, сколько и у тебя, как, наверное, и у всех жен, в чем-то другом даже больше. Если она говорит, что ты не годишься для брака, то по крайней мере в ее устах это верно. Если ты возразишь, что это твоя беда, она вправе ответить: потому-то и не надо переносить свои беды на других, это ее не касается. Ты можешь возразить, что она, мол, женщина и это ее дело. Но это значит — апеллировать к суду такому высокому, который решения не вынесет и велит начать процесс заново.

Эту «негодность к браку» она и я вместе с ней (нет, не стану до такой степени объединять себя с твоей женой, она все, конечно, видит иначе) видим в том, что хоть ты и желаешь брака, но какой-то частью своего существа, в то время как другая часть рвется прочь, раздирая тем самым ту, что склонна к супружеству, вырывая у нее, как она ни сопротивляется, почву из-под ног. Конечно, в целом ты женат, но, если взглянуть с точки зрения такого раздвоения на перспективу, ты поневоле будешь косить в сторону, а из этого толку не выйдет. Скажем, ты женат на своей жене, но одновременно и через ее голову — на литературе, а теперь, скажем, женишься на другой и одновременно и через ее голову — на Палестине. Но все это невозможно, хотя, наверное, и необходимо. По-настоящему супруг должен был бы, напротив — если говорить теоретически, — хоть и взяв себе вместе с женой весь мир, все же не глядеть мимо жены на мир, с которым он хочет вступить в брак, а через мир видеть свою жену. Все другое для женщины означает мучение, но, может быть, это не в меньшей степени спасение или возможность спасения для мужчины, как в некоем идеальном браке.

Франц

[Цюрау, середина — конец января 1918]

Дорогой Макс,

на этот раз твое письмо (опять же независимо от новостей, я это уже не раз говорил, и это для меня совершенно ясно) было для меня особенно важным, потому что я за последнее время пережил два или три несчастья — или, может, только одно, — в результате чего мое всегдашнее смятение возросло так, будто, скажем, учитель по непонятной мне причине вернул меня из выпускного класса гимназии обратно в первый класс начальной школы. При всем том эти несчастья, пойми меня правильно, относительно, я вижу в них добрую сторону, могу им радоваться, даже так и делал, но при всей «относительности» они все-таки полновесны.

Первое и главное — приезд Оскара. Все время, пока он тут был, я совершенно ничего не чувствовал — лишь в самый последний день ощутил чуть-чуть какую-то малость, но это было лишь обычное чувство слабости, которое не поддается проверке, чувство усталости, которое очевидно проявляется в общении двух человек, чем в отдельном человеке. Вообще всю неделю мы были веселы, может быть, слишком веселы. Хотя в самые первые дни до изнеможения обсуждали несчастье Оскара. Впрочем, я, как известно, устаю легче, чем кто-либо другой из моих знакомых. Но не об этом сейчас, собственно, речь, разговор затеян ради того, чтобы понять и чисто исторический смысл старой истории страдания.

Несчастье Оскара тоже с этим прямо не связано. Но ты меня об этом спрашиваешь, а я до сих пор отделялся общими словами лишь потому, что некоторое время тому назад мне это было доверено если и не совсем как тайна, то как признание, кроме того, я не хотел, чтобы ты думал об этом уже во время первой встречи с Оскаром, наконец, еще и потому, что в этом не было такой уж необходимости, ведь в случае, если это так, ты же все время был там рядом. У этого несчастья, если угодно, три лица (но пусть это пока и в самом деле останется между нами), однако, если приглядеться внимательней, оно оказывается даже более многоликим. Во-первых, для него по целому ряду причин, о которых он много думал, невозможным стал брак с женой, женат он, по-моему, семь лет, но уже пять лет это невыносимо. Во-вторых, когда его об этом спросишь, он всегда говорит, что жена у него невыносимая (причем сексуально она ему вполне подходит, сама по себе кажется даже вполне милой), имеется в виду невозможность брака, брака вообще. Конечно, тут остается некий нерастворенный осадок, в этом смысле характерна, например, предпринятая однажды попытка создать целую серию новелл на тему собственных браков с целым рядом знакомых ему женщин и девушек, причем финалом неизменно оказывалась полная невозможность. В-третьих, и здесь начинается область наибольшей неопределенности, он мог бы, наверное, покинуть свою жену, ему кажется, у него есть внутренние и внешние причины, чтобы предпринять этот шаг, который представляется ему трудным и жестоким, но

он не может взять на себя такую вину перед сыном, хотя дело тут не в отцовском чувстве и хотя он знает, что этот разрыв был бы единственно правильным решением и, если он на него не решится, ему никогда не будет покоя. Вообще же, особенно если знать, сколько у него «посюсторонних» фантазий и ночных привидений (мы спали в одной комнате и меняли зародыши болезни на привидения), в нем, с его мучениями, которые он воспринимает всерьез, много общего с д-ром Асконасом[68], как в том много общего с нашей эпохой западного еврейства. В этом смысле, то есть, можно сказать, социально-духовном, роман — великолепное, открыто произнесенное слово, и, если это так, его воздействие станет широким. Пожалуй, он не больше, чем констатация, чем «прыжок-в-сторону-времени», но и это для начала очень много. В первые ночи мы говорили об этом романе как об историческом документе, который нужен для подтверждения тех или иных вещей. Так было и с Норнепигге, но тогда это меня еще мало тронуло.

Что же касается моего поведения в связи с делами Оскара, то оно было совсем простым, по крайней мере я так старался, при всей внутренней определенности, возможно, и не свободной от предрассудков, оно колебалось в зависимости от его колебаний, я говорил «да» и «нет», если мне казалось, что слышу «да» и «нет», и лишь это «верить, что слышу» было моим делом, достаточным, чтобы влиять на него хорошо или плохо, и я как раз хотел, чтобы ты высказался на эту тему. Кроме того, отчасти независимо от моих намерений оказывал свое воздействие Цюрау, а вместе с Цюрау то, что мне здесь до сих пор открылось. В том числе Трельч и Толстой, которых я ему читал.

При всем том было и обратное воздействие на меня, хотя я ощутил его лишь потом. Я выдержал этот визит отчасти как экзамен, но, когда он уже был закончен, я провалился. Недавно я написал Оскару, что теперь, после того как мы целую неделю были вместе, нам очень его не хватает. Это верно и относительно меня лично, но лишь в связи с неделей совместной жизни, а так это не все. Для меня все еще продолжается совместная жизнь с этим милым мне все-таки человеком, причем не в том смысле, что я страдаю его страданиями или что тут примешано какое-то конкретное личное страдание, а почти совершенно абстрактно в том, что направление его ума, принципиальная склонность к отчаянию, когда он считает почти заранее доказанным, что его конфликт не поддается разрешению, нагромождение каких-то бессмысленных, оскорбительных, многократно друг в друга отражающихся, друг на друга заползающих — термин из твоего романа — вспомогательных конструкций, что все это впадает в меня, как стоячий водный проток, который на неделю ожил. Какая гигантская сила, какая гигантская сила и вышеупомянутое одиночество нужны, чтобы устоять перед человеком, рядом с которым ты какое-то время ходишь, а по бокам от вас черти, свои — чужие, ты на них имеешь не меньше прав, чем их истинный обладатель.

Я здесь немного преувеличиваю, есть, конечно, и кое-что еще, но в основном это так. А кроме того, отчасти под влиянием этого визита я вечером перед отъездом Оскара почувствовал особую необходимость перечитать «Или — или», а теперь начал присланные Оскаром последние книги Бубера. Все три вместе ужасные, отвратительные.

Они написаны правильно и точно, «Или — или» — предельно острым пером (почти весь Касснер выходит отсюда), но они рождают отчаяние, и если, как это бывает, когда увлечен чтением, невольно отнесешься к ним как к единственным в мире книгам, даже из самых здоровых легких уйдет весь воздух. Это, конечно, надо бы объяснить подробнее, лишь в моем всегдашнем состоянии позволительно так говорить. И написать и читать такие книги можно, лишь если чувствуешь, что действительно способен себя ощутить хоть немного выше их. А так они мне все более отвратительны.

Что касается тебя, то твои слова меня не убеждают. Нет ли тут недоразумения, как если бы мы где-то уже встречались, не подозревая об этом? Я не утверждаю, что ты женился на своей жене ради литературы, ты женился вопреки литературе, а поскольку ты женился также и по вполне достойным причинам, ты пытаешься вытеснить это «вопреки» из памяти с помощью литературного «рассудочного брака» (как ты считаешь). Тебе нужны «разумные обоснования» брака, потому что ты не можешь жениться просто по велению души. Мне кажется, ты и сейчас ведешь себя так. Ты, мне кажется, колеблешься не между двумя женщинами, а между браком и внебрачной жизнью. Это колебание заставляет женщину, не вредя ни тому, ни другому, держаться твердо, отсюда и твоя потребность в «руководительнице», но, даже если не говорить о том, можно ли этот конфликт разрешить одним махом, такое решение вообще не женское дело, а твое, и в том, что ты пытался спихнуть его на чужие плечи, есть и твоя вина.

Эта вина отчасти находит продолжение и в том, что ты уже не называешь виной — или, вернее, и виной тоже, — но также и добром. Конечно, у тебя мягкое сердце, но здесь не тот случай, когда нужно мягкосердечие. Это как если бы хирург, храбро начавший вдоль и поперек резать и колоть (испытывая угрызения совести лишь вообще, но не перед конкретным живым существом, которого болезнь сделала виноватым), из мягкосердечия, но также из печали оттого, что тем самым навсегда сделает этот важный случай достоянием прошлого («моя жена должна была, не разрывая вторично-духовных отношений со мной...»), медлит сделать последний — может быть, целительный, может, болезнетворный, может, губительный, но во всяком случае решающий — шаг.

Я не знаю «Затонувшего колокола»[69], но, судя по твоим словам, могу отнести этот конфликт к тебе, причем вижу замешанными в нем лишь двух человек, ведь те, что на горах, — не люди.

А Ольга[70]? Она выведена не сама по себе, а лишь в качестве сознательного противовеса Ирене, как спасение от нее.

Но если от всего отвлечься: то, что с тобой здесь происходит, и происходит несомненно — «полный мир, покой в эросе», — нечто настолько чудовищное, что опровергается самим фактом некоторого твоего сопротивления. Если бы ты называл это не такими высокими словами, еще можно было бы сомневаться. Но — и тут я возвращаюсь к сказанному раньше — именно потому, что ты называешь это так, конфликт, вероятно, в другом.

То, что говорил Верфель, сказано лишь между прочим, он не настолько отличается от других, чтобы там, где у других звучало бы отчаяние, у него бы звучал гнев; но характерно, однако, то, что он молчаливо ссылается на поэтическое мгновение, как это делаем я и ты и все, будто на такие вещи можно ссылаться, вместо того чтоб попытаться поскорее отвести взгляд, чтобы потом ни за что не отвечать. Впрочем, «невыносимы лишь пустые дни» звучит братски-предательски и плохо согласуется с этим гневом.

Франц

«Послание»[71] прилагаю. Спасибо за «таблички».

[Цюрау, штемпель 28.I.1918]

Дорогой Макс,

что касается твоих дел, то до получения ответа могу сказать тебе лишь вот что: я тоже считаю роль женщины ведущей, она это доказала, скажем, на примере грехопадения, за что, как, пожалуй, в большинстве случаев, была плохо вознаграждена. В этом смысле твоя жена, скажем, тоже руководит, поскольку она в некоторой степени через свое собственное тело ведет тебя к другим телам; то, что она, указав тебе этот путь, держит тебя, — иное дело; может, только тут по-настоящему и осуществляется ее руководство. Ты прав, когда говоришь, что для меня закрыты глубинные слои собственно сексуальной жизни; я тоже так считаю. Поэтому я всегда уклоняюсь и от суждений об этой стороне твоего дела или просто ограничиваюсь констатацией, что этот огонь, для тебя священный, недостаточно силен, чтобы в нем сгорело сопротивление, суть которого мне уже понятна. Почему случай Данте нужно толковать так, как ты это делаешь, я не знаю, но, даже если бы дело обстояло так, это все-таки совсем другое, чем было у тебя, по крайней мере до сих пор; ее от него увела смерть, ты же, чувствуя себя вынужденным от нее отказаться, хочешь, чтобы она умерла для тебя. Впрочем, ведь и Данте по-своему от нее отказался, он по своей воле женился на другой, что также не подтверждает твоего толкования.

Но только приезжай, приезжай, чтобы с этим поспорить. Однако до этого надо заранее послать телеграмму, чтобы мы могли тебя встретить и чтобы твой приезд не совпал с моим отъездом (если я паче чаяния должен буду все-таки поехать в Прагу на службу где-то в середине февраля). Хорошо бы также, чтобы ты приехал не в одно время с моим зятем, который собирается сюда в начале февраля, впрочем, я сейчас подумал, это получится само собой, потому что он наверняка не приедет на воскресенье, как, наверное, ты. Словом, если ты предварительно телеграфируешь, для твоего приезда в феврале нет никаких препятствий, и будь здесь Оттла (она в Праге, постарается зайти к тебе в понедельник, но, наверное, не застанет, потому что ты уедешь выступить с лекциями), она бы перечислила достаточно (достаточно, с ее точки зрения) соблазнов, чтобы тебя к нам заманить. Если не удастся приехать уже утром в субботу (но для этого лучше бы выехать уже в пятницу пополудни), ты поедешь в субботу после двух с главного вокзала и в половине шестого будешь уже в Михлебе, где мы бы тебя ждали с лошадьми. (Одного воскресенья для поездки теперь уже мало, поскольку ранний скорый больше не останавливается в Михлебе, с 1 января.)

Большое спасибо за экземпляры рукописи (которые мне, впрочем, уже не нужны, во всяком случае в Корнфельде, потому что я нашел другой выход) и за все печатные материалы, а также за то, что ты напомнил обо мне Вольфу. Настолько приятнее напоминать о себе через тебя, чем самому (при том условии, что это тебе не неприятно), потому что тогда, если что-то ему не понравится, он может сказать это прямо, в то время как обычно — во всяком случае, по моим впечатлениям — он не говорит откровенно, по крайней мере в письмах, лично он более откровенен. Я уже получил корректуру книги.

Поскольку Оттла вряд ли тебя застанет и не передаст тебе моего вопроса, она уже в понедельник днем возвращается сюда обратно: объединение писателей (имеются в виду «Перья») сообщает мне о сделанной без разрешения перепечатке «Отчета для Академии» в «Эстеррайхшен моргенцайтунг» и спрашивает у меня полномочий, чтобы вытребовать для меня гонорар в 30 марок (с удержанием 30 %). Надо ли мне это делать? 20 марок мне бы оченьгодились для покупки, например, новых томов Кьеркегора. Но с этим объединением дело нечисто, со взысканием суммы тоже, а газета, наверное, еврейская. Так надо ли? Кстати, можешь ли ты заказать номер (это, видимо, воскресный выпуск за декабрь или январь) через Влечка?

В благодарность за это одна фраза из обращения франкенштейнского санатория, ведь мне больше не с кем поделиться радостью: господин Артур фон Вертер, крупный промышленник, во время первого заседания правления во Фр. произнес большую речь, открыто выразив пожелание, чтобы она была напечатана и предоставлена объединению в качестве листовки. Она лучше, чем бывает обычно в этом роде, фразы здесь более свежие, невинные и т. д. Заключительный абзац я недавно добавил в Праге. Его это, со своей стороны, подвигло внести улучшения, добавления, и вот теперь в печати я читаю такое: «Долгие годы участвуя в практической жизни, я без влияния всяких теорий выработал для себя такой жизненный девиз: быть здоровым, прилежно и успешно трудиться для себя и для своей семьи, честно зарабатывать состояние — вот путь человечества к довольству на земле».

(Примечание на полях:) Пожалуйста, Макс, спроси Пфемферта[72], чем отличается рубинеровское издание дневников Толстого от мюллеровского.

[Цюрау, начало марта 1918]

Дорогой Макс,

я отвечаю сразу же, хотя сегодня такой хороший день. Ты неверно понял мое молчание, дело тут не в тактичности, тогда лучше было бы просто не отвечать, это была неспособность; за все это долгое время я начал три письма и бросил, это была неспособность к правильному пониманию, но не «немочь», это было «мое дело», о котором с большим трудом (потому что мне самому такие простые вещи даются лишь с большим трудом, в отличие от счастливо-несчастливого Кьеркегора, который, уносясь, так замечательно дирижирует неуправляемым воздушным кораблем, хотя для него это, собственно, не столь существенно и, по его же собственным понятиям, не стоило бы и заниматься тем, что для тебя несущественно) можно сказать, но которое нельзя рассказать, а потом я уже и сказать ничего не мог. Здесь же, за городом, молчание уместно еще и потому, что я приехал из Праги (из последней поездки я вернулся буквально как в опьянении, точно ехал в Цюрау, скажем, специально, чтобы протрезветь, и каждый раз, как я был уже близок к трезвости, я тотчас опять уезжал в Прагу, чтобы снова там раньше времени напиться), уместно и потому, что я нахожусь здесь долго, всегда. Само собой, такая тишина делает мой мир беднее; я всегда ощущал это как свое личное несчастье, у меня (так воплощаются символы!) в буквальном смысле не хватало дыхания, силы легких, чтобы вдохнуть разнообразие мира, который ведь, если верить зрению, открыт для меня; теперь я больше не трачу на это усилий, они не входят в мое расписание, и жизнь от этого не стала печальнее. Но сказать что-либо я способен еще меньше, чем прежде, а если и говорю, то едва ли не против своей воли.

В Кьеркегоре я, пожалуй, действительно запутался, я с удивлением заметил это, когда читал о нем у тебя. Ты прав: главная его проблема — осуществление своего брака, именно эту проблему он постоянно стремился осмыслить, я отмечал это в «Или — или», в «Страхе и

Трепете», в «Повторении» (последнее я прочел за эти две недели, теперь заказал «Стадии»), но — хотя Кьеркегор сейчас в каком-то смысле всегда со мной — я про это в самом деле забыл, до такой степени блуждаю где-то в других местах, хотя и не теряю до конца связи со всем этим. Чувство «телесного» сходства с ним, возникшее в какой-то мере после одной небольшой книжки «Отношение Кьеркегора к „ней“» (издательство «Инзель»[73] — у меня она здесь есть при себе, я ее тебе пошлю, но это несущественно, тут надо бы потом еще раз перепроверить), теперь совсем исчезло, тот, кто казался соседом по комнате, превратился в какую-то звезду, что характеризует как мое восхищение, так и некоторую холодность моего сочувствия. В остальном я не рискну говорить что-либо определенное, кроме названных книг, я знаю еще лишь последнюю, «Мгновение», а это действительно два совершенно разных стекла («Или — или» и «Мгновение»), сквозь которые можно исследовать эту жизнь и в одном направлении, и в обратном, и, разумеется, в обоих одновременно. Но ни в том, ни в другом случае я, конечно, не назову его только отрицательным, в «Страхе и трепете», например (это тебе надо сейчас прочесть), его положительность достигает чудовищных размеров и пасует лишь перед неким, обычно рулевым (если только это не предлог — так мне кажется), где положительность можно бы уже упрекнуть в чрезмерности; обычного человека (с которым он, кстати, умеет так на удивление хорошо говорить) он не видит, а малюет чудовищного Авраама в облаках. Но отрицательным его из-за этого все-таки нельзя назвать (если только отвлечься, может быть, от терминологии его первых книг), и кто может сказать, что же это такое — его меланхолия. Что до совершенной любви и брака, то в контексте «Или — или» они суть одно, лишь недостаток совершенной любви делает А. неспособным к совершенному браку с Б. Но первую книгу «Или — или» я все-таки еще не могу читать без внутреннего сопротивления.

Я понимаю чувствительность Оскара (если отвлечься от того, что его собирались связать вовсе не с каким-то ничтожеством, каким ему по крайней мере показался партнер) так, что он чувствует себя уязвленным (его, мол, подталкивают к чему-то, что ему с самого начала казалось неправильным), что он не ограничивается самоистязанием, но немного мучает и тебя. Таким образом, я могу его понять, это, по-моему, пустыя.

От Пика я, к счастью, пока еще ничего не получил, но, скорее всего, дружески отклоню этот соблазн, который меня не обманывает, хотя он в самом деле большой. Но тебя это не должно коснуться. (Я получил дружеское приглашение от издательства Райса, от Вольфа после первых корректур ничего больше не было.)

Заметки Либшкеля о тебе были отвратительным взрывом ненависти, от обычной критики Енуфы они отличались к тому же и отвратительным стилем. Ответ, мне кажется, его только немного поддержал, потому что читателям лишь тут пришло в голову, что можно дискутировать и о таких вещах.

Счастья и радости в Германии!

Твой Франц

(Приписка на полях:) Пожалуйста, передай привет также Феликсу и Оскару, я не знаю, смогу ли им достаточно скоро написать.

Не спрашивал ли ты Пфемферта о рубинеровском издании дневников Толстого?

О какой беготне и неприятностях ты говоришь?

Отношения со службой все еще для меня мучительны. Я останусь здесь, сколько смогу.

Большое спасибо за две твои посылки. Ты ко мне очень добр, только не говори, пожалуйста, о «перемене, немочи».

[Цюрау, конец марта 1918]

Дорогой Макс,

удивительно, что это удалось в Дрездене; как они смогли там так все это понять, я имею в виду актеров, работников театра. Удивительно и прекрасно. И мне хорошо понятно также, какое счастье иметь там родителей. Твоей жены при этом не было? Во всяком случае это были хорошие дни, и то хорошее, что там было, может на время компенсировать для тебя утраченную свободу воли. Я говорю так просто потому, что моему глазу, упрощающему все до полной опустошенности, никогда бы так хорошо не удалось разглядеть понятие свободы воли в некоей вполне определенной точке горизонта, как это удалось тебе. Впрочем, и ты можешь сохранить здесь свободу воли или по крайней мере не должен будешь поступиться ею, если ты либо заранее откажешься принимать ее как милость, либо примешь ее как милость, но будешь считать ничтожной. Такую свободу воли мы потерять не можем. И знаешь ли ты, что ты привел в движение многолетней честной работой и как необозримо далеко расходятся от нее лучи? Я говорю это для тебя, не для себя.

Спасибо за посредничество с Вольфом. С тех пор как я решил посвятить книгу моему отцу, для меня стало важным, чтобы она вышла скорее. Не потому, что это помогло бы примириться с отцом, у этой вражды такие корни, что их так просто не выдерешь, но все-таки я бы кое-что сделал, пусть и не переселился бы в Палестину, но хоть провел бы пальцем по карте. Поэтому, так как Вольф меня брать не желает, ничего не отвечает, ничего не присылает, а это, видимо, моя последняя книга, я хотел послать рукопись Райсу, который меня любезно пригласил. Я написал еще одно ультимативное письмо Вольфу, который, однако, до сих пор не ответил, а между тем дней десять тому назад пришли новые корректуры, с которых я сделал список для Райса. Надо ли мне все-таки отдать это куда-то в другое место? Между тем пришло приглашение и от Пауля Кассирера. Откуда он, кстати, знает мой адрес в Цюрау?

Не говорил ли ты с Адлером[74] и о Кьеркегоре? Для меня это теперь уже не так актуально, поскольку старые книги я давно уже не читал (я работал в саду, пользуясь хорошей погодой), а «Стадии» еще не пришли. Ты упоминаешь «отрефлектированность» и явно чувствуешь, как и я, что нужно выйти из-под власти его терминологии, его понятий. В том числе и его понимания «диалектического», или того же самого введения к «Рыцарю бесконечности» и «Рыцарю веры», или даже понятия «движения». Это понятие может перенести прямоиком в счастья (ознаки или еще на один взмах крыльев дальше. Так ли уж это оригинально. А может, за этим каким-то образом стоит Шеллинг или Гегель (обоими он с противоположных точек зрения весьма интересовался)?

Переводчик, статьи, ведет себя совершенно бесстыдно, я думал, он переиначивает только «Или — или», пользуясь молодостью автора, а оказывается, и «Стадии»! Это отвратительно, тем более что чувствуешь себя перед этим совершенно беспомощным. Но немецкий язык перевода еще не самое худшее, а в послесловии местами можно встретить и полезные замечания, просто от Кьеркегора исходит столько света, что какая-то часть его проникает на любую глубину. Впрочем, переводя Кьеркегора, этих «глубин» издательство не потревожило.

В книжной публикации («Стадий» я не знаю, но в этом смысле ведь все его книги компрометирующие) я не вижу никакого существенного противоречия с его главной целью. Цель эта неоднозначна и даже если бы со временем стала по-своему однозначной, то и эта однозначность была бы лишь частью того хаоса, в каком смешались для него дух, печаль и вера. Наверное, современники ощущали это еще яснее, чем мы. К тому же компрометирующие его книги вышли под псевдонимом, а они псевдонимы по сути; в целом, при всей их откровенности, их все-таки можно считать обманчивыми письмами соблазнителя, человека не от мира сего. И даже если бы это все было не так, по прошествии времени, которое все смягчает, невеста должна бы вздохнуть от облегчения, что не угодила в эту пыточную машину, которая сейчас работает вхолостую или по крайней мере занимается лишь ее тенью; благодаря этому она может терпеливо сносить и «безвкусицу» почти ежегодных публикаций. И ведь в конце концов она, как лучшее доказательство правильности кьеркегоровского метода (кричать, чтобы не быть услышанным, и кричать на тот случай, если все-таки услышат), осталась невинной, словно овечка. Может, здесь Кьеркегору что-то удалось вопреки собственному желанию или мимоходом, по пути к какой-то совсем другой цели.

Религиозное состояние Кьеркегора предстало передо мной не в такой уж чрезвычайной, для меня тоже весьма соблазнительной ясности, как перед тобой. Уже саму позицию Кьеркегора — он еще не сказал ни слова — хочется оспорить. Ибо отношение к божественному у него вначале не поддается никакой оценке со стороны, может быть, в той же степени, в какой сам Иисус не мог судить, как далеко пойдет тот, кто за ним последует. Похоже, для Кьеркегора это был в каком-то смысле вопрос Страшного суда, ответ на который — насколько тут еще нужен ответ — дается, когда миру придет конец. Поэтому внешняя картина нынешнего отношения к религии не имеет никакого значения. Впрочем, религиозное отношение стремится к открытости, но она в этом мире невозможна, поэтому устремленный человек должен сопротивляться миру, чтобы спасти в себе божественное, или, что то же самое, божественное восстанавливает его против мира во имя собственного спасения. Это значит, что мир должен подвергнуться насилию — твоему или Кьеркегора, иногда больше твоему, иногда больше его, разница существенна лишь для насильяемого мира. А следующее место не из Талмуда: «Как только явится человек, достаточно примитивный, чтобы не сказать: „Нужно принимать мир, каков он есть“ (здесь свободно проплывает и корюшка), а сказать: „Каков бы ни был мир, я держусь изначально, которое не собираюсь менять, в зависимости от отношения к миру“, в тот самый миг, когда это прозвучит, во всем бытии произойдет перемена. Словно в сказке, после того как произнесено слово, заколдованный на сто лет замок открывается и все оживает: начинается бытие сплошной внимательности. Ангелы приступают к делу и с любопытством всматриваются, что из этого будет, ведь им это интересно. С другой стороны, мрачные злоеющие демоны, долго сидевшие без дела и кусавшие себе пальцы, вскакивают и потягиваются, ибо, говорят они, в этот миг, которого мы так долго ждали, найдется и для нас пожива и т. д.»

О Боге самоистязания: «Предпосылки, создаваемые христианством (страдание сверх обычной меры и вина совсем особого рода), есть и у меня, и я нахожу в христианстве прибежище. Но властно или прямо проповедовать другим я не могу, потому что ведь не могу устранить предпосылки».

О Фрейде (на тему о том, что Христос всегда был здоровым): «Вообще жить подлинно духовной жизнью, сохраняя полное телесное и психическое здоровье, ни одному человеку не под силу».

Ты скажешь, он не пример, то есть не самый убедительный пример. Конечно, это как раз не человек.

Франц

[Цюрау, начало апреля 1918]

Мой дорогой Макс,

разве мое письмо было настолько уж не обо мне? Его трудно понять, если иметь в виду Кьеркегора, и легко, если соотнести его со мной. Учти также, что сейчас в каком-то смысле пора прощания с деревней, в Праге проводят политику, лучшую из всех возможных (если считать, что меня хотят удержать): молчат, терпят, платят, ждут. Выдержать это непросто, и, видимо, в следующем месяце я снова чиновник в Праге.

Спасибо за приложенные письма. Письмо Пика — одно из неплохих последствий войны, хотя и замечаешь, как он следует за твоим предыдущим письмом, мне неизвестным, к тому же самые важные размышления у него не до конца прояснены, хотя вряд ли для него тут есть что-то неясное. А вообще я все время повторяю одно и то же: о писателе надо судить по творчеству; если здесь все созвучно, хорошо; если возникает красивое или мелодичное несозвучие, тоже хорошо; но плохо, если несозвучие раздражает. Я не знаю, применимы ли такие принципы вообще, готов ответить отрицательно, но мог бы представить себе некий упорядоченный живой идеей мир, в котором искусство занимало бы подобающее ему место, хоть в жизни я такого и не встречал. (Тем временем я успел побывать с кобылой в деревне Шааб у жеребца, в комнате сейчас слишком холодно, а тут в саду наполовину готова грядка для огурцов и еще очень тепло. Запах этого навоза, который как раз привезла Оттла, сильно бьет мне в нос.) Я хочу сказать: анализ, необходимый для применения этих самых принципов, по отношению к нам невозможен, мы все время остаемся целыми (в этом смысле), когда мы пишем, то не обособляемся от Луны, чтобы исследовать ее происхождение, а переселяемся на Луну со всеми своими пожитками, при этом ничто не меняется, мы там те же самые, что были здесь, в темпе путешествия могут быть тысячи отличий, но в самой сути отличий нет, Земля, стряхнувшая с себя Луну, с тех пор лишь окрепла, мы же почти потеряли нашу лунную родину, не окончательно, здесь нет ничего окончательного, но потеряли. Поэтому я не могу согласиться и с тем, как ты проводишь различие между волей и чувством в произведении, или, может, дело просто в данных названиях, а кроме того, чтобы ограничить высказывание, я говорю ведь, собственно, лишь за себя, хотя чересчур расширительно, но иначе не могу, другого круга лиц у меня нет. Воля и чувство всегда и по-настоящему живы, здесь ничего нельзя разрывать (удивительно, теперь я, сам того не сознавая, прихожу примерно к тому же выводу, что и ты),



единственный возможный разрыв, разрыв с родиной, уже совершен, уже совершен, критики могут это констатировать не глядя, но никогда это не будет оцениваться с точки зрения отличий, о которых говорят они и совершенно несущественных перед лицом вечности. Поэтому всякая критика, оперирующая понятиями «настоящий», «ненастоящий», ищущая в произведении волю и чувство несуществующего автора, кажется мне бессмысленной и объяснимой лишь тем, что они тоже потеряли свою родину и все оказывается в том же ряду, я, конечно, подразумеваю: потеряли осознанную родину.

В Кенигсберге предстоит ещё большее испытание театра и публики. Пусть туда поедет Макс с самыми лучшими пожеланиями от меня.

Франц

На меня произвело большое впечатление твое упоминание об Эренфельде. Но можешь ли ты достать мне книгу? Впрочем, ни одна из заказанных книг не пришла, никто их не доставляет.

[Почтовая открытка, Шелезен, штемпель 16.II.1918]

Дражайший Макс,

тревожиться не стоит, но иметь в виду надо. Кстати, у меня в кармане уже давно лежит одна адресованная тебе визитная карточка с подобной очень простой инструкцией (кстати, тоже насчет денежных дел). А пока мы живем, и твоя статья об общине[75] превосходна. Читая, я гримасничал от радости. Неопровержимо, верно, ясно, познавательно, нежно и, ко всему ещё, блестяще. Что касается органической цельности отдельного человека с точки зрения морали, то причины тут, насколько я могу судить, ещё хуже; эта цельность в том, что касается морали, по большей части питается лишь мысленными оговорками. Откровенно социальны все люди, за исключением, может быть, тех, кто бредет где-то совсем на обочине и скоро отпадет, да ещё тех, чья тесная грудь сверхчеловечески может вместить в себя весь социум. Но все другие вполне социальны, они просто по-разному преодолевали разные трудности. Это, наверное, тоже должно было произвести впечатление в статье, которая не является приговором, но, во всяком случае, содержит фактический материал для приговора. Нельзя, видно, совсем избежать и недоразумения, которое может возникнуть благодаря такому, например, факту (только ради примера), что в Народном объединении заседает много замечательно социальных людей, а в Клубе девушек их меньше. Но опять же и при всем том я сторонник этой статьи. Если бы вся твоя новая книга[76] вышла такой!

Франц

[Шелезен, январь 1919]

Дорогой Макс,

недавно ты мне снился, сам по себе сон не представлял чего-то особенного, мне это часто снится: будто я беру какую-то палочку или просто отламываю ветку, криво втыкаю ее в землю, сажусь на нее, как ведьма на метлу, или просто опираюсь, как опираются на тросточку, — и этого оказывается достаточно, чтобы передвигаться длинными низкими прыжками, поднимаясь, снижаясь, как захочу. Если разбега не хватает, достаточно всего лишь ещё раз оттолкнуться от земли — и я лечу дальше. Такое мне снится часто, но на этот раз тут каким-то образом присутствовал и ты, ты куда-то всматривался или ждал меня, и как будто это происходило в помещении Рудольфинума. И получается так, что я каждый раз вынужден причинять тебе какой-то вред или по крайней мере отнимаю у тебя время. Правда, совсем по мелочам, однажды я потерял маленькую железную палочку, которая принадлежала тебе, и должен был в этом сознаться, в другой раз своим полетом заставил тебя долго ждать; то есть действительно мелочи, но удивительно было, с какой добротой, терпением и спокойствием ты все это принимал. Может быть — этой мыслью кончался сон, — ты был убежден, что мне, при всей кажущейся легкости, все-таки тяжело, может, ты склонялся к этой мысли как единственному объяснению моего поведения, которого в противном случае никак нельзя было понять. И даже малейшим упреком ты не испортил мне этих ночных радостей.

А вообще я и днем чувствую себя неплохо, во всяком случае что касается легких. Ни температуры, ни одышки, все меньше кашляю. Зато досаждают желудок.

Когда приедешь в Швейцарию?

Сердечный привет,

Франц

Приветы Феликсу и Оскару.

[Шелезен, штемпель 6.II.1919]

Дорогой Макс,

как ты противишься своему предназначению и как это предназначение ясным, громким и звучным языком о себе заявляет; что же говорить другим, чье предназначение дает о себе знать едва слышным шепотом или вовсе молчит.

Пока ты во сне мучился собственными мыслями[77], я ехал на тройке по Лапландии. Это было нынешней ночью, вернее, я ещё не ехал, но тройка уже была запряжена. Оглобля повозки представляла собой громадную кость животного, и кучер объяснил мне технически довольно изобретательный и странный способ, каким в нее запрягают. Не буду сейчас этого пересказывать. Затем до северных краев донесся знакомый звук, это был голос моей матери, а может, она присутствовала здесь собственной персоной и обсуждала национальный костюм мужчины, объясняя, что штаны у него из бумажной ткани и изготовлены фирмой Бонди. Связь с воспоминаниями предшествующих дней очевидна: тут и еврейская тема, и разговор о бумажной ткани был, и о Бонди тоже.

Еврейскую тему здесь представляет молодая девушка[78], надо надеяться, не очень тяжело больная. Это одновременно обычное и удивительное явление. Не еврейка и не не-еврейка, не немка и не не-немка, любящая кино, оперетту и комедии, пудру и фату, располагающая неисчерпаемым и бесконечным множеством наглейших жаргонных выражений, в целом довольно невежественная, скорее веселая, чем грустная, — вот тебе ее примерное описание. Если же вздумается описать ее национальную принадлежность, придется сказать, что она принадлежит к нации лавочниц. И притом в душе храбрая, честная, самозабвенная — столько великолепных свойств в этом существе, хоть и не лишенном телесной красоты, но крохотном, как мошка, что летит на свет моей лампы. Этим, и не только этим, она похожа на фройляйн Бл., о которой ты вспоминаешь, должно быть, без прязни. Не мог бы ты одолжить мне для нее «Третью фазу сионизма»[79] или что-нибудь другое, что ты сочтешь нужным? Ей это будет непонятно, ей это будет неинтересно, я не буду настаивать, чтобы она читала, — но все-таки.

Времени у меня немного, можешь мне в этом поверить, не хватает дня, сейчас уже четверть двенадцатого. Большую часть времени приходится лежать на открытом воздухе, я лежу один на балконе, гляжу на лесистые холмы.

Со здоровьем неплохо, впрочем, желудок и кишечник не совсем в порядке. Нервам, или как это еще называется, тоже стоило бы пожелать большей устойчивости, уже со вторым человеком у меня здесь складывается так. Принять в себя нового человека, особенно его страдания, а главное — борьбу, которую он ведет и в которой другие, как ему кажется, понимают больше, чем сам этот человек, — ведь это нечто прямо противоположное родам.

Будь здоров. Привет Феликсу и Оскару.

Франц

«Зельбствер» я получил. Что ты, собственно, подразумеваешь, когда говоришь: «Палестина вообще непонятна»?

[Шелезен], 2 марта [1919]

Дорогой Макс,

я даже не поблагодарил тебя за прекрасную книгу. Пожить некоторое время в ее атмосфере благотворно. У меня при этом, не знаю, преимущество ли это или наоборот, ко всему примешиваются юношеские воспоминания и юношеские чувства.

Фройляйн тоже просила передать тебе большую благодарность, она все внимательно прочла и даже явно поняла, хотя и на особый, девичий лад, когда схватываешь что-то мгновенно. Между прочим, она не так далека от сионистских интересов, как мне показалось вначале. Ее жених, погибший на войне, был сионистом, ее сестра ходит на еврейские доклады, ее лучшая подруга примыкает к бело-голубым и «не пропускает ни одного выступления Макса Брода».

Что до меня, я провожу время весело (по грубым подсчетам, я за последние пять лет не смеялся столько, сколько за эти последние недели), но это и трудное время. Что ж, пока я все выдерживаю, но не случайно у меня не совсем в порядке со здоровьем. Впрочем, это время, по крайней мере если говорить о нынешнем положении вещей, в ближайшие дни заканчивается, и, если заведение признает свидетельство здешнего врача, я, вероятно, останусь здесь еще немного.

Как странны первые ошибки жизни, я имею в виду первые очевидные ошибки. Наверное, их не надо рассматривать обособленно, тогда они приобретают более высокое и более широкое значение, но иногда приходится так делать; мне приходят на ум состязания, когда каждый участник по-своему не без основания убежден, что он победит, и это могло бы быть, ведь жизнь так богата. Почему же этого не происходит, хотя каждый как будто в этом уверен? Потому что неверие выражается не в «вере», а в практическом «способе скачки». Примерно как если бы каждый был твердо убежден, что он выиграет, но выигрыш будет заключаться лишь в том, что он перед первым же препятствием убежит и больше не вернется. Судье ясно, что этот человек не победит, по крайней мере здесь не победит, и очень поучительно следить, как этот человек с самого начала делает ставку на то, чтобы убежать, и все на полном серьезе.

Удачи с книгой[80]! И побольше времени!

Франц

[Весна 1919?]

Дорогой Макс,

насчет Тарновской[81] я ничего не понимаю, зато Виглер весьма хорош, а еще важнее виглеровских суждений мнение Хандля, ибо тут уже можно говорить о публике. Известием, что для меня подготовлены два стихотворения, ты утешил меня больше, чем сам можешь думать. А мне нужно утешение. Как и ожидалось, теперь начались боли в желудке, да такие сильные, какие пристали бы человеку, набравшемуся сил благодаря Мюллерам. До вечера — так долго это длилось — я пролежал на канаве, вместо обеда попил лишь немного чаю и, поспав четверть часа, мог только досадовать, что все еще не стемнело. Около половины пятого наконец появились первые признаки заката, они все усиливались, вскоре окончательно стемнело, но мне не стало лучше. Знаешь, Макс, перестань жаловаться на девушек, быть может, боль, которую они тебе причиняют, хорошая боль; а если нет, тогда защищайся, боль уйдет, сил прибавится. А я? Все, чем я владею, обращено против меня, а что обращено против меня, тем я уже не владею. Если, например — хотя это всего лишь пример, — у меня болит желудок, то это, в сущности, уже не мой желудок, а нечто вроде чужака, которому доставляет удовольствие избивать меня. И так во всем, я весь состою из шипов, которые в меня же вонзаются, а всякая попытка защититься, всякое усилие приводят лишь к тому, что шипы втыкаются еще глубже. Порой хочется сказать: бог знает, как я могу еще вообще чувствовать боль, ведь от одной необходимости причинить их себе я даже не могу перейти к их восприятию. Но часто я действительно не чувствую никакой боли, я действительно свободнейший от боли человек, какого только можно себе представить. Так что я не испытывал боли на канаве, меня не раздражал свет дня, который прекратился, когда пришло время, и с темнотой было точно так же. Но, дорогой Макс, тут ты мне должен поверить, даже если того не желаешь, все в это послеполуденное время сложилось так, будто мне предназначено было испытать все эти боли в строгой

последовательности. С сегодняшнего дня я уже не могу отговориться никаким перерывом: лучше всего выстрелить. Я просто сорвал бы себя с места, на котором меня и так нет. Допустим, это было бы трусостью; трусость остается, конечно, трусостью, даже если бы в каком-то случае речь шла только о ней. Здесь именно такой случай, здесь ситуация, которую нужно устранить любой ценой, но, кроме трусости, ее не устранил ничто, мужество лишь превратит все в судорогу. И судорогой все ограничивается, не волнуясь.

[Меран, начало мая 1920]

Дражайший Макс,

большое спасибо. Мюнхен я примерно таким себе и представлял, любопытны детали. Понятно, пусть даже евреи не повредят будущему Германии, но можно себе представить, как они вредят ее настоящему. Они давно навязали Германии вещи, к которым надо было бы, наверное, прийти постепенно и по-своему и которые требовали противодействия, потому что они чуждого происхождения. Ужасно бесплодное занятие — антисемитизм и все, что с ним связано, и этим Германия обязана евреям.

Что касается моего небольшого круга здесь, то все недоразумения давно уладились, я тогда их преувеличил, да и другие тоже. Генерал, например, относится дружелюбнее ко мне, чем к другим, что меня, впрочем, не удивляет, поскольку я обладаю качеством, несомненно весьма полезным в обществе (к сожалению, только им и за счет прочих): я умею превосходно, искренне и счастливо слушать других. Это свойство постепенно воспиталось в кругу семьи; для одной моей старой тетушки, например, у меня без всякого внутреннего усилия наготове мина чрезвычайного внимания: открытый рот, улыбка, большие глаза, постоянно кивающая голова и неподражаемо вытянутая шея, что не только не унижительно, но способно облегчить и действительно облегчает дело, когда с чужих губ хотят слететь слова. Скажу без хвастовства, я в этот миг предан правде и жизни, но лицо тетушки, а оно очень крупное, всегда как бы охватывает мое. Правда, генерал неверно толкует это и считает меня поэтому ребенком, недавно, например, он высказал предположение, что у меня должна быть хорошая библиотека, но тут же сделал поправку на мою молодость и заметил, что я, вероятно, уже начинаю собирать библиотеку. При всем том антисемитизм за столом, не обращая особого внимания на мое присутствие, являет себя во всей своей невинности. Некий полковник в частном разговоре со мной подозревает генерала (к которому вообще все несправедливы) в «глупом» антисемитизме; говорится о еврейской бестолковости, наглости, трусости (особенно в связи с разными военными историями, рассказываются жуткие вещи: например, как один больной восточный еврей вечером перед началом похода впрыснул двенадцати евреям в глаза заразу триппера, возможно ли такое?), при этом звучит несколько удивленный смех, потом у меня просят извинения, только евреям-социалистам и коммунистам ничего не прощают, их готовы утопить в супе и разрезать, как жаркое. Но бывают исключения, тут есть, например, фабрикант из Кемптена (там тоже несколько дней существовало правительство советов — кстати, бескровное и без евреев), который отмечает различие между Ландауэром, Толлером и другими и рассказывает о симпатичных чертах Левина.

Со здоровьем у меня хорошо, если бы я еще мог спать, в весе я, правда, прибавил, но бессонница мешает, особенно в последнее время. Для нее есть разные причины, возможно, одна из них — переписка с Веной[82]. Это живой огонь, какого я еще не встречал, впрочем, горит этот огонь вопреки всему лишь ради него. Притом необычайно нежна, мужественна, умна и всем способна пожертвовать или, если угодно, все завоевать жертвой. Но таков, однако, должен быть и мужчина, сумевший это вызвать.

Из-за бессонницы я, возможно, приеду раньше, чем нужно. В Мюнхен я вряд ли поеду, хоть у меня и есть интерес в издательстве, но это пассивный интерес.

Сердечный привет тебе, твоей жене, особенно Оскару, которому я не написал; хотя никаких препятствий нет, я с большим трудом решаюсь писать по необходимости откровенные[83] письма.

Твой Ф.

[Меран, июнь 1920]

Спасибо, Макс, твое письмо мне очень помогло. И история была рассказана кстати, я перечел ее десять раз, и все десять раз она, даже в твоём пересказе, вызывала у меня содрогание.

Но отличие между нами есть. Видишь ли, Макс, тут другой случай, у тебя необычайной мощи крепость, вокруг бушуют несчастья, но ты внутри или где сам захочешь и работаешь, работаешь, с помехами, беспокойно, однако работаешь, я же горю, я вдруг оказываюсь ни с чем, кроме пары балок, и то, если их не поддержать собственной головой, они рухнут и все это убожество сгорит. Жалуюсь ли я? Нет, я не жалуюсь. Жалуетесь мой вид. А чего я достоин, не знаю.

Второе известие меня, конечно, радует, отчасти это было еще при мне. Тем временем я сделал этому человеку худшее, что только можно было сделать, и, наверное, худшим образом. Как лесоруб врубается в дерево (но ему так велели[84]). Видишь, Макс, я еще способен стыдиться.

Хотел бы быть у тебя в мае и очень радуюсь за тебя.

Только одно место в твоём письме мешает. Где ты говоришь о выздоровлении. Нет, об этом последний месяц нет и речи. Впрочем, ты ведь написал «Остров Карина»[85].

Твой Франц

Привет твоей жене.

Нет ли у тебя случайно вестей от Оттлы? Она пишет мне очень редко. В середине июля у нее должна быть свадьба.

Оскару я напишу, но о чем мне писать, я ведь могу только об одном.

Пятница, [Прага, штемпель 7.VIII.1920]

Дорогой Макс,

если уж ты, ты оказываешься до такой степени ленивым, это явный признак, что надо ждать хорошей погоды, счастливая примета, вот для меня в этом не было бы ничего особенного, я ленивый всегда, в деревне, в Праге, всегда, и особенно как раз когда я чем-то занят, потому что на самом деле это никакая не занятость, так просто полеживает на солнце благодарная собака.

«Язычество» я как раз в понедельник прочел в поезде, а «Песнь песней»[86] еще не прочел, потому что с тех пор погода была в самый раз для занятий плаванием. Меня каждый раз заново удивляла естественная полнота этой главы, при всей ее выстроенности и продуманности, хотя я этого и ожидал, ведь это «Язычество» — отчасти твоя духовная родина, хочешь ты этого или не хочешь. Это великолепно, я, впрочем, был самой не критичной из твоих галицийских учениц[87] и, читая, нередко тайком пожимал твою руку и касался плеча.

При этом я отнюдь не могу сказать, что согласен с тобой, или вернее сказать: я, может быть, лишь обнаруживаю твое тайное согласие с «язычеством». Вообще, там, где ты просто говоришь сам, мне все очень близко; но, когда ты начинаешь полемизировать, у меня тоже частенько возникает желание полемизировать (насколько я могу, разумеется).

Дело в том, что я не верю в язычество, как ты его понимаешь. Грекам, например, тоже был ведом определенный дуализм, иначе как были бы возможны мойры и многое другое? Но это были как раз весьма смиренные люди — в религиозном смысле, — своего рода лютеранская секта. Они не способны были представить себе истинно божественное слишком далеко от себя, весь мир богов был для них лишь средством сохранить главное для земного тела, иметь воздух для человеческого дыхания. Великое средство воспитания нации, к которому обращались взгляды людей, было не столь глубоким, как еврейский закон, но, может быть, более демократичным (здесь не было ни вождей, ни основателей религий), может, более свободным (это держалось, но я не знаю чем), может, более скромным (ибо лицемерие богов приводило лишь к одному выводу: мы даже не боги, даже не они, а будь мы богами, чем бы мы были?). Ближе всего, пожалуй, к твоей точке зрения, когда говорят: теоретически существует возможность полного земного счастья, а именно если верить в совершенно божественное и не стремиться к нему. Такая возможность счастья столь же кощунственна, сколь и недостижима, но греки были к ней, наверное, ближе многих других. Однако и это еще не язычество, как ты его понимаешь. И ты не доказал также, что греческая душа отчаялась, а доказал лишь, что ты бы отчаялся, если бы тебе пришлось быть греком. Это верно, конечно, для тебя и для меня, и то не совсем.

Собственно, воспринимаешь эту главу трояко: в ней есть твои позитивные убеждения, которые здесь остаются непоколебленными и которых я до сих пор тоже не касался, затем есть концентрированная возбужденная атака на греков, и, наконец, есть их тихая самозащита, которую, в сущности, тоже ведешь ты.

С твоей женой я вчера долго разговаривал на Софийском острове и по пути домой. Она была любезна, хотя и тосковала, по ее словам, но была любезна. Правда, история обручения твоего зятя ее немного взволновала, как обычно волнуют такие вещи, я это почувствовал на себе.

От Абелеса давно ничего не было, я уже опасался, что ничего не вышло, но вчера после обеда все-таки пришел от него ответ, весьма дружелюбный. Он, впрочем, отсылает обратно к издательству «Левит», так как 2 августа Абелес уходит в отпуск и передает это дело своему другу, некоему д-ру Орнштайну, редактору издательства «Левит», оно, как он уверяет, «будет добросовестно исполнено». О деньгах он ничего не пишет, значит, надо доставать у «Левита». Одновременно он просит уведомить тебя, что ежегодник здесь еще не вышел, но он знает твой адрес и постарается, «зная твою занятость, своевременно освободить тебя от твоего любезного обещания». Поскольку твоя жена, кажется, должна была что-то сделать для ежегодника, я сегодня вечером сходил к ней, но, не застав дома, оставил только записку на эту тему. Мои дела плохи. Ответ в Вену, конечно, требует времени. Недавно у меня был Отто Пик, он упоминал про англичанина, который должен был перевести «Народного короля»[88] с немецкого на английский для американских представителей. Вот и все, а теперь я иду спать. Слышу: как хорошо ты спишь. Благословен будет твой сон.

Франц

[Матлиари, штемпель 31.XII.1920]

Дорогой Макс,

думаешь, мне от твоего письма не стало жарко? Правда, если бы мне предложили царства мира во всем их великолепии, я бы тоже их не получил, но не потому, что отказался бы, а потому, что от жадности погиб бы, уже спрыгивая. Разве от поездки в Берлин меня удержало что-нибудь, кроме великой слабости и бедности, которые помешали сделать «предложение», но никогда не помешали бы мне поддаться «предложению». Я бы пробивался кулаками и локтями, ты не знаешь моего тщеславия.

С тобой дело другое, у тебя была возможность (как тебе кажется, будто ты видишь жизненную силу Берлина, так я в самом деле вижу твою силу), и ты отказался от нее с решимостью, для меня в высшей степени убедительной в своей твердости. Твоя решимость в этом смысле для меня столь тверда и убедительна, что, даже если бы ты теперь решил иначе, я признал бы это точно так же. Впрочем, ты пока не пишешь о переселении в Берлин. И примечательно в этом соблазне также то, что тебя влечет в Берлин интенсивность тамошней жизни, но ты как будто чувствуешь, что твою пражскую жизнь нельзя сделать по-берлински интенсивной, это должна быть целиком и полностью берлинская жизнь. А может быть, ты услышал из Берлина не приказ переселяться в Берлин, а просто приказ уехать из Праги.

В театральных делах я мало смысла, если не объяснить мне подробнее, критику Берлин читал точно так же, как я; ты сам говорил: ставится все возможное и невозможное, а «Фальсификатора» испугаются?

Ф. не была на твоих выступлениях? Наверное, из-за своего здоровья? Быть в Берлине и не видеть Ф. кажется мне по-человечески

неправильным, хотя, конечно, и у меня получилось бы так же. У меня жда Ф. любовь неудачливого полководца к стране, которую он не сумел завоевать, но которая, «несмотря на это», сумела достичь немало — стать счастливой матерью двоих детей. Знаешь ли ты что-нибудь о первом ребенке?

Что до меня, я нашел здесь славное место, славное постольку, поскольку ищешь чего-то такого, что еще имеет вид санатория и в то же время не является санаторием. Это не санаторий, потому что здесь останавливаются также туристы, охотники и вообще кто угодно, особой роскоши здесь не предоставляют, надо оплатить только реально съеденное, и все-таки это санаторий, потому что здесь есть врач, возможность стационарного лечения, кухня по заказу, хорошее молоко и сливки. Он расположен в двух километрах за Татра-Ломницем, то есть еще на два километра ближе к большим Ломницким горам, на высоте 900 м. Хороши ли врач? Да, специалист. Мне бы самому стать специалистом. Как упрощается для такого человека мир! Слабость моего желудка, бессонница, беспокойство, короче, все, что я есть и что у меня есть, объясняется для него болезнью легких! Пока она не проявилась открыто, она маскируется под слабость желудка, нервов. Многие заблуждения легких — я тоже так полагаю — проявляются только в таком виде. И поскольку все страдания мира ему ясны, он всегда носит при себе в маленькой кожаной сумке, величиной не больше кружки национального фонда, также и средство для исцеления мира и впрыскивает его, если вы пожелаете, за двенадцать крон в жилу. При всем том он для полного соответствия действительно славный, краснощекий, крепкий мужчина с молодой женой (похоже, еврейкой), которую он любит, и маленькой красивой дочкой, которая так необычайно умна, что он об этом даже говорить не может, именно потому, что это его собственное дитя и он не хочет хвастаться. Он приходит ко мне каждый день, смысла это не имеет, но по-своему приятно.

В общем, можно сказать: если я пару месяцев выдержу этот режим физически и духовно (особенно без перемены места), я весьма поправлю здоровье. Но, возможно, это ошибочный вывод, и верно лишь одно: если я здоров, то и буду здоров. В первую неделю я прибавил kilo шестьдесят, что, однако, ничего не доказывает, потому что в первую неделю я всегда поправляюсь, как лев.

Здесь около тридцати постоянных гостей, в большинстве они показались мне не евреями, настолько выглядели совершенными венграми, тем не менее это в основном евреи, начиная со старшего кельнера. Я разговариваю очень мало и с немногими, главным образом из нелюдимости, но также и потому, что мне так кажется правильно (нелюдим это доказывает). Есть тут, правда, один, из Кашау, двадцати пяти лет, со скверными зубами, слабыми, чаще всего прикрытыми глазами, вечно испорченным желудком, нервный, тоже всего лишь венгр, он только здесь научился говорить по-немецки, а словацкий и не пахнет — но это юноша, в каких можно влюбиться. Восхитительный, в восточноеврейском духе. Полный иронии, беспокойства, капризный, уверенный, но также и жаждущий. Ему все «интересно, интересно», но это означает не обычный интерес, а нечто вроде «горит, горит». Социалист, но извлекает из своих детских воспоминаний много еврейского, учил Талмуд и Шулхан Арух[89]. «Интересно, интересно». Но почти все забыл. Бегаёт по всем собраниям, слышал тебя, рассказывает, что весь Кашау был восхищен речью, видел также, как Лангер основал группу мисрахи.

Пусть Берлин принесет тебе много доброго, и напиши мне как-нибудь пару слов об этом. Или ты даже не едешь в Словакию? Получается ли роман[90], о котором ты говоришь?

Привет от меня твоей жене и всем прочим. За разрешение остановиться в Гримменштайне я послал тебе благодарность еще в Берлин на адрес книготорговли Эбера, мне это казалось и кажется совсем особым благодеянием.

[Матлиари, 13 января 1921]

Дражайший Макс,

последние три дня я не был особенно расположен защищать Матлиари, да и вообще писать. Вот мелочь. Гость, молодой человек, больной, но жизнерадостный, помаленьку поет под моим балконом или болтает на балконе через меня со своим приятелем (кашаусцем, который, впрочем, ко мне внимателен, как мамаша к ребенку) — так вот, такой мелочи достаточно, чтобы я корчился на своем шезлонге чуть не в судорогах, сердце этого не переносит, каждое слово буравит меня, а результат этой нервоотрепки — еще и бессонница. Я хотел сегодня уехать — в Смоковец, без всякой охоты, ведь здесь все мне подходит, и комната у меня очень спокойная, и по соседству, и подо мной, и надо мной — никого; а то, что я слышу от людей непредвзятых о Смоковце, подтверждает мою антипатию к этому месту (нет леса вокруг, здесь гораздо красивее, два года назад там все было разворочено бурей, дачи и балконы выходят на городскую, пыльную, людную улицу), и все-таки мне, конечно, пришлось бы уехать, но теперь тут готовится одно нововведение, которое с завтрашнего дня должно мне обеспечить покой: вместо двух приятелей наверху поселится тихая дама. Если этого не произойдет, я наверняка уеду. Впрочем, я наверняка уеду и так через несколько дней, из-за моего «природного» беспокойства.

Я упоминаю об этом прежде всего потому, что сам так поглощен этим, как будто в мире не существует ничего, кроме балкона надо мной и беспокойства, которое он мне доставляет, а во-вторых, чтобы показать тебе, как несправедливы твои упреки по адресу Матлиари, ведь балконного беспокойства (кашель тяжелобольных, звуки комнатного колокольчика!) в переполненных санаториях гораздо больше, и оно исходит не только сверху, но со всех сторон, а с другим упреком по адресу Матлиари я вообще не могу согласиться (ладно бы речь шла о недостаточной эlegantности моей комнаты, но это не упрек), и, в-третьих, я упоминаю это, чтобы показать тебе, в каком душевном состоянии пребываю сейчас. То же со мной было и в Австрии. Иногда все вполне хорошо, лежишь вечером на канапе в прекрасно натопленной комнате, во рту термометр, рядом крынка с молоком, и вкушаешь некий мир, но именно некий, это не твой собственный мир. Всего лишь мелочи, я не знаю, но вопроса Траутенауэрского окружного суда было достаточно, чтобы трон в Вене зашатался, зубной техник, а это как раз он, вполголоса учит что-то на балконе вверху, и все царство, действительно все, вспыхивает в один момент.

Но хватит об этих бесконечных проблемах.

Не думаю, что в главном вопросе мы существенно расходимся, как ты это изображаешь. Я бы выразил это так: ты хочешь невозможного, для меня и возможное невозможно. Я, наверное, нахожусь ступенькой ниже тебя, но на той же самой лестнице. Для тебя возможное достижимо; ты женат, у тебя нет детей, не потому, что для тебя это было невозможно, а потому, что ты не хотел; у тебя и дети будут, я на это надеюсь; ты любил и был любимым, не только в браке, но тебе этого недостаточно, потому что ты хочешь невозможного. Может быть, для меня по той же причине недостижимо возможное, только меня эта молния поразила на шаг раньше, чем тебя, еще до того, как я достиг возможного, и это, конечно, отличие большое, но существенным я бы его не назвал.

Мне, например, кажется невозможным то, что ты пережил в Берлине. Что речь идет о моей горничной, тебя, разумеется, не принижает, напротив, это показывает, как серьезно ты ко всему относишься. Эта девушка, впрочем, внешне была весьма далека от всего, что тебя очаровало в Берлине, в сущности, обычный образ твоей тамошней жизни должен бы девушку принизить, и тем не менее ты отнесся ко всему столь серьезно, что она могла почувствовать себя весьма уверенно. Однако — только не злись, пожалуйста, на меня из-за того, что я сейчас скажу, может, это не так и глупо, может, я неверно понял эту часть твоего письма, может, ход событий меня тем временем уже опроверг, — но принимаешь ли ты саму девушку так же всерьез, как свои отношения с ней? И если ты что-то принимаешь не совсем всерьез, но любить хочешь вполне всерьез, не значит ли именно это хотеть невозможного, как если бы человек, сделавший шаг вперед, а потом шаг назад, вопреки очевидному вздумал бы считать, что сделал два шага вперед, поскольку он ведь сделал именно два шага и ни на шаг меньше. Я имею в виду не то, что ты говоришь о словах девушки, это, пожалуй, вполне совместимо с твоей серьезностью, но как ты мог даже не задуматься, что ты для девушки значишь. Чужак, приезжий, более того, еврей, один из сотен, кому нравится красивая горничная, человек, которого можно считать способным проникнуться захватывающей серьезностью одной ночи (даже если он к этому так всерьез не относится), но чего же еще больше? Любовь через расстояния? Переписка? Надежда на сказочный февраль? И ты требуешь такого полного самоуничтожения? И то, что ты сохраняешь верность (действительно глубокую верность, это я понимаю хорошо) этим отношениям, ты называешь также верностью девушке? Не значит ли это громоздить невозможность на невозможность? Конечно, здесь все чревато ужасным несчастьем, это я вижу издали, но силы, увлекающие тебя к невозможному, — даже если это всего лишь силы желания, — очень велики и не могут исчезнуть, если ты вернешься сломленный, так что держись прямо, думая о новых днях.

Ты говоришь, что не понимаешь моей позиции. Она, по крайней мере, на поверхности, очень проста. Ты не понимаешь ее только потому, что предполагаешь за моим поведением какую-то доброту или нежность, но как раз их не можешь найти. Я в этом смысле отношусь к тебе примерно как ученик младшего класса, который восемь раз проваливался, к ученику выпускного класса, которому предстоит невозможное — выпускной экзамен. Я могу представить, какая борьба тебя ждет. Но когда ты видишь меня, большого человека, склонившегося над маленькой задачей на умножение, тебе этого не понять. «Восемь лет! — думаешь ты. — Это, должно быть, очень основательный человек. Он все еще умножает. Но если он до сих пор такой старательный, значит, он теперь что-то должен уметь. Поэтому я его не понимаю». Но что у меня могут начисто отсутствовать математические способности и что я не сбегая лишь из жалкого страха или — самое вероятное — что я из страха мог окончательно потерять рассудок — это тебе в голову не приходит. И все же это не что иное, как подлейший страх, смертельный страх. Как человек, не в силах противостоять соблазну, прыгает в море и счастлив, что его так несет — «теперь ты человек, теперь ты великий пловец», — и вдруг выпрямляется, просто так, без причины, и видит только небо и море, а в волнах лишь свою маленькую головку, и его охватывает ужасный страх, все остальное ему безразлично, ему нужно назад, пусть хоть разорвутся легкие. Именно так обстоит дело.

А теперь сравни твой случай с моим — или лучше не с моим, из уважения, а со старыми великими эпохами. Единственной настоящей бедой было бесплодие женщин, но, даже если они были бесплодными, можно было добиться плодovitости. Бесплодия в этом смысле — на чем я поневоле сосредоточиваюсь — я больше не вижу. Всякие чресла плодоносят и без пользы ухмыляются миру. И если кто-то даже прячет свое лицо, то не для того, чтобы защититься от этой ухмылки, а чтобы не выдать своей собственной. В таком сравнении борьба с отцом значит немного, он ведь всего только старший брат или неудачный сын, который лишь ревниво и жалко пытается смутить своего младшего брата в решающей борьбе, впрочем, не без успеха. Но теперь выходит уже совсем мрачно, каким и положено быть последнему кощунству.

Франц

(Приписка на полях:) Нет ли у тебя копии статьи о Шрайбере[91], чтобы мне одолжить? Я бы ее скоро вернул.

У тебя же должны быть также новые корректуры стихотворений[92]? Может, уже и большой книги?

Передай, пожалуйста, привет Феликсу и Оскару; немного успокоюсь, напишу им. Я опять прочел то, что ты говоришь о Матлиари, и вижу, что должен еще ответить отдельно{5}. Ты знаешь Словакию, но не Татры, здесь были дачи будапештцев, они чистые, с хорошей кухней. Признаться, немецкий или австрийский санаторий был бы для нас удобнее, но это просто впечатления первого дня, скоро привыкаешь, кстати, это одно из моих преимуществ, в котором ты (да и домашние тоже) хочешь, чтоб я усомнился. Я отношусь к этому всерьез, как ты, Макс, того и хочешь, антитеза представляется мне еще хуже, речь не о жизни или смерти, а о том, чтобы жить или начетверть жить, дышать или задыхаться, медленно (не намного быстрее, чем длится на самом деле жизнь) сгорать в лихорадке. Поскольку я смотрю на вещи так, можешь мне поверить, что я не упущу ничего, что могу сделать, чтобы хоть отчасти обратиться к добру. Но почему врач должен?.. В твоём письме мне при первом чтении от страха захотелось сделать карандашом эту фразу нечитаемой. Наконец, то, что он говорит, не так уж глупо, и уж, конечно, не глупей того, что говорят другие. В этом есть даже что-то библейское; кому не дано сполна воспринять творческого дыхания жизни, тот будет уязвим во всем.

То, что я могу лечиться без мяса, уже, между прочим, доказано в Цюрау, где я почти не ел мяса, и в Меране, где меня из-за моего хорошего аппетита после первых двух недель уже не узнавали. Впрочем, потом вмешался враг, но его мясной едой не оттолкнешь и воздержанием от мяса не привлечешь, он приходит в любом случае.

Я здесь очень хорошо отдохнул, и, если бы мне здесь не мешало кое-что связанное с М., я бы остался дольше.

Из-за родителей, а теперь и из-за тебя, да, наконец, из-за меня самого (потому что мы бы тогда в этом смысле были вместе) мне жаль, что я не поехал с самого начала в Смоковец, но, раз уж я теперь здесь, зачем мне рисковать плохим обменом и, не побыв здесь четырех недель, уезжать отсюда, где все любезно стараются дать мне все, в чем я нуждаюсь.

[Матлиари, конец января 1921]

Дражайший Макс,

еще одно направление законами внешними. Возможно, тебе со стороны это будет понятнее.

С балконом несчастьем мне, вообще говоря, справиться не удалось, правда, на верхнем балконе сейчас тихо, но мои пугливо настороженные уши слышат теперь все, слышат даже зубного техника, хотя его отделяют от меня четыре окна и один этаж.

(Далее следует схема расположения комнат.)

И хотя он еврей, скромно здоровается и, конечно, на уме у него нет ничего дурного, он для меня совершенно «чужой черт». От его голоса у меня начинает болеть сердце, голос этот блеклый, вялый и, вообще говоря, тихий, но он проникает сквозь стены. Как я сказал, мне надо сперва ото всего этого отдохнуть, пока что мне все мешает, порой уже кажется, что мешает чуть ли не сама жизнь; иначе как бы могло мне мешать все?

И вот вчера произошло следующее: кроме больного, которого я еще никогда не видел, здесь есть еще лишь один лежачий, чех, он живет под моим балконом, у него туберкулез легких и гортани (один из вариантов в ряду «жизнь или смерть»), из-за своей болезни и из-за того, что здесь, кроме него, всего два чеха, он чувствует себя одиноким; я лишь дважды мимоходом заговаривал с ним в коридоре, и он через горничную просил мне передать, чтобы я навестил его однажды, дружелюбный тихий человек лет пятидесяти, отец двух взрослых сыновей. Я перед самым ужином зашел к нему, чтобы поскорей отделаться, а он просил меня зайти ненадолго еще и после ужина. Потом он рассказал мне про свою болезнь, показал мне маленькое зеркало, которое он, когда есть солнце, засовывает глубоко в горло, чтобы осветить рубцы, затем показал большое зеркало, с помощью которого он сам заглядывает себе в горло, чтобы правильно установить маленькое зеркальце, затем показал мне рисунок язв, которые, впрочем, появились впервые три месяца назад, затем рассказал вкратце о своей семье и что он уже неделю ничего про нее не знает, поэтому озабочен. Я слушал, время от времени задавал вопросы, должен был брать в руки зеркало и рисунок, «ближе к глазам», говорил он, когда я держал зеркало на расстоянии от себя, и, наконец, тут не было особого перехода, я спросил себя (у меня и прежде были несколько раз такие приступы, всегда начинается с этого вопроса): «А что, если ты сейчас упадешь в обморок?», и обморок тут же нахлынул на меня, как волна. Сознание, так мне по крайней мере кажется, я сохранял до конца, но не мог себе представить, как смогу выйти из комнаты без посторонней помощи. Не знаю, продолжат ли он говорить, для меня наступила тишина. Наконец я пришел в себя, что-то сказал о прекрасном вечере, что должно было бы объяснить, почему я выбрался на его балкон и там остался, присев на перила. Там мне удалось настолько прийти в себя, что я уже мог сказать о плохом самочувствии и, не попрощавшись, выйти из комнаты. С помощью стен в коридоре и кресла между этажами я добрался до своей комнаты.

Я хотел сделать человеку что-то хорошее, а сделал что-то очень плохое; как я услышал утром, он из-за меня всю ночь не спал. Тем не менее мне не в чем себя упрекнуть, больше того, я не понимаю, как другим удается не падать в обморок. То, что открывается там в кровати, хуже казни, это как пытка. Мы этих пыток не придумывали нарочно, мы только лицезрим болезнь, но ни одному человеку не хватит духу так пытаться, а здесь пытка длится годами, с продуманными паузами, чтобы не слишком ускорять дело, и — вот главная особенность — пытаемый сам, по своей собственной воле, в силу собственной несчастной природы, вынужден длить пытки. Вся эта несчастная жизнь в кровати, с температурой, одышкой, приемом лекарств, мучительные и опасные манипуляции с зеркалами (при мельчайшей неловкости можно причинить себе легкий ожог) — все это служит лишь тому, чтобы только, замедлив рост язв, от которых он в конце концов задохнется, по возможности продлить эту жалкую жизнь, лихорадки и т. д. А родственники и врачи и посетители устроили над этим не горящим, но медленно тлеющим костром помост, чтобы без опасности заразиться изредка навещать пытаемого, охлаждать, утешать, приободрять для дальнейших мук. И потом в своих комнатах испуганно умываются, как я.

Я, кстати, тоже почти не спал, но у меня было два утешения. Во-первых, сильные боли в сердце, которые напомнили мне о другой пытке, но они были гораздо милостивее, потому что гораздо быстротечнее. А потом после множества прочих снов мне приснился такой: слева от меня сидел ребенок в рубашечке (потом я не мог наверняка вспомнить, был ли это мой ребенок, но мне это не мешало), справа Милена, оба прижимались ко мне, а я рассказывал им историю о своем бумажнике, я его потерял и потом нашел, но не смог его снова открыть, а поэтому не знал, есть ли там еще деньги. Но даже если бы я его не нашел, это бы ничего не значило, потому что у меня было еще два. Сейчас я, конечно, не могу воспроизвести ощущения счастья, которое нашло на меня утром.

То был сон, а действительность такова, что три недели назад я (после многих подобных писем, но это было вызвано крайней необходимостью, которая для меня означала, и означает, и еще будет означать решительный конец) просил лишь об одной милости: больше не писать и не допустить, чтобы мы когда-нибудь снова увиделись.

Кстати, за эти недели я тоже прибавил в весе: всего за 4 недели 3 кг 400 г. Привет Феликсу и Оскару. Получилось ли что-нибудь из сицилианской поездки Оскара? И что они оба делают? А Рут?

При неважном свете вечером на балконе:

Письмо пролежало несколько дней, возможно, потому, что я хотел написать еще о позднейших «событиях». Ничего особенно плохого.

После твоего сегодняшнего письма я очень устыдился того, что сказал о тебе и о девушке. Будь я женат и причини что-нибудь подобное своей жене, я, выражаясь несколько преувеличенно (но не более преувеличенно, чем само предположение), пошел бы в угол и наложил на себя руки. Но ты настолько великодушен, что даже не упоминаешь об этом. Конечно, в позапрошлом письме ты выразился слишком общо, но я должен был бы увидеть в этих общих словах иное, чем это у меня получилось. Хотя в основном мое отношение к этому не изменилось, но доказывается оно не с такой глупой легковесностью.

Возможно, мне лучше бы это удалось, если бы я говорил о себе. У меня нет при себе твоего письма (а чтобы его извлечь, мне нужно доставать тяжелую упаковку), но помнится, ты говорил, что, если стремление к совершенству не позволяет мне добиться женщины, оно делает для меня так же невозможным и все прочее — еду, службу и т. д.

Это верно. Хотя стремление к совершенству — лишь малая часть моего большого гордиева узла, но здесь каждая часть является еще и

делым, а потому сказанное тобой верно. Но эта невозможность существует и на самом деле, невозможность еды и т. д., только она не так резко бросается в глаза, как невозможность жениться.

Сравним друг друга в этом, у обоих препятствия телесного характера. Ты с ними справился великолепно. Когда я размышлял над этим, там, на склоне, упражнялись лыжники, не те, которых видишь тут обычно, гости из отеля или солдаты из ближних казарм, они мне уже успели понравиться, особенно когда с серьезным видом они скользят по дороге, спускаются сверху, поднимаются снизу, но на этот раз пришли еще трое новеньких из Ломница, наверное, тоже не особенные мастера, но что они вытворяли! Один, длинный, шел впереди, двое, поменьше, за ним. Для них не существовало ни обрывов, ни рвов, ни откосов, они пересекали местность, как ты пишешь на бумаге. Вниз же получалось быстрее, там как раз был луг, но и по склону вверх они как будто взлетали. А что они показывали при спуске, я не знаю, действительно ли это был большой телемарк с поворотом (так это называется?), но это было сказочно, так здоровый человек соскальзывает из бодрствования в сон. Это продолжалось около четверти часа, почти в полном молчании (отчасти еще и потому мне так нравилось), потом они опять вышли на дорогу и — других слов тут не подберешь — свалились в Ломниц.

Я смотрел на них и думал о том, что так и ты преодолел препятствия, которые чинило тебе твоё тело.

Я же, напротив... дальше я не хотел писать.

Но тут случилось несколько очень плохих ночей, первые две по случайным, временным, одноразовым причинам, остальные из-за фурункула, который вскочил у меня на пояснице и не дает мне днем лежать, а ночью спать. Это мелочи, и, если не продлится дальше в том же духе, я справлюсь легко, а упоминаю это, лишь чтобы показать, что, если существует Некто, желающий помешать мне прибавить в весе и окрепнуть (до сих пор я, впрочем, заметил лишь прибавку в весе, 4 кг 200 г за 5 недель), оседлал меня крепко.

Продолжать сегодня сравнения я не буду, Макс, я слишком устал, да и слишком это трудно, материал так чудовищно разросся со временем и настолько не сконцентрирован, что поневоле оказываешься болтливым, когда снова за это берешься.

Собираешься ли ты приехать? Конечно, если это не сопряжено с большими трудностями, тебе надо бы приехать, но я не вижу для этого никаких возможностей, разве что тебе предстоит поездка в Словакию. Из твоего письма можно заключить, что ты хочешь связать это с поездкой в Берлин, как-нибудь через Одеберг, нет, это было бы слишком трудно, это не надо ни в коем случае, даже ради меня, это взвалило бы на меня слишком большую ответственность. Или ты можешь задержаться больше чем на три дня, чтобы отдохнуть?

Чуть было не начал снова говорить о том же, так одолевает меня болтливость. Ты подчеркиваешь: «страх перед чем». Перед многим, но в земной юдоли страх прежде всего перед тем, что меня не хватает, ни физически, ни духовно, чтобы нести бремя другого человека; пока мы почти одно, этот пытливый страх: «как? мы в самом деле должны стать почти что одним целым?» — и затем, когда этот страх сделал свое дело, он становится до последней глубины убедительным, неопровержимым, невыносимым. Нет, сегодня об этом больше не надо, это слишком.

Ты упоминаешь письма Демеля[93], я знаю лишь те, что из декабрьского номера, получеловечные, супружеские.

Вынужден вернуться к тому же. Ты пишешь: «Зачем бояться любви более, чем других обстоятельств жизни?» — а прямо перед этим: «В любви я прежде всего, чаще всего переживал непостоянно-божественное». Если сопоставить обе фразы, они звучат так, будто ты хотел сказать: «Почему не перед каждым кустом испытывать такой же страх, как перед горящим?»

Это ведь как если бы целью моей жизни было приобрести дом... Опять осталось незаконченным, несколько дней перерыва, усталости, легкой лихорадки (должно быть, из-за абсцесса), за окном снежная круговерть, сейчас стало лучше, поскольку сегодня вечером всплыла новая помеха — надеюсь, столь незначительная, что я смогу с ней справиться, просто ее отметив: новая соседка по столу, старая дева, ужасно напудренная и надушенная, видимо тяжело больная, к тому же нервная до предела, общительная до болтливости, как чешка отчасти обращаясь ко мне, вдобавок плохо слышащая на ухо, обращенное ко мне (сейчас тут еще пара чехов, но они уезжают), у меня есть оружие, которое, надеюсь, меня защитит; сегодня, говоря не со мной, она упомянула, что ее любимая газета «Венков»[94], особенно ей нравятся передовицы, я в восхищении думаю об этом весь вечер. (Кстати, она приехала из Смоковца, была во многих санаториях и хвалит сверх всякой меры только один, Гримменштайн, но с марта он продан государству.) Может быть, самым хитрым методом было бы ждать, пока она сама не скажет чего-нибудь, что уже нельзя было бы взять обратно. О Гримменштайне она сказала: «Ma to zid, ale vytesne to vede»{6}, этого еще недостаточно.

Впрочем, Макс, не думай после всего, что я написал, будто я одержим манией преследования, я по опыту знаю, что свято место не бывает пусто и, если я не в седле, тогда, и только тогда, в нем оказывается мой преследователь.

Однако сейчас я заканчиваю (иначе ты до отъезда не получишь письма), хотя я не сказал того, что хотел, и даже не нашел окольной дороги от себя к тебе, которая мне, по крайней мере вначале, смутно мерещилась. Но это как раз и характеризует плохого писателя, который держит в руках то, что он хочет сообщить, словно тяжелую морскую змею, щупает справа, щупает слева — нет конца, и даже то, что он нащупал, ему не удержать. А если это к тому же еще и человек, который вернулся после ужина в свою тихую комнату и воспоминание о застольном соседстве ввергает его почти в физическую дрожь.

И еще, когда я писал письмо, я думал прежде всего о двух вариантах. Первый кажется мне невозможным, это газета «Газетт дез' Арденнес», невозможно иметь дело с главным редактором, невозможно, гнет работы (впрочем, ты ведь не был единственным музыкальным референтом?) слишком велик, политическая позиция (каждый сотрудник такой газеты должен занимать позицию) слишком определена, и вообще это не для тебя. Единственным преимуществом могло бы быть высокое жалованье.

Но второй, почему бы ему и не получиться? За что платит правительство? Оно настолько импровизированно и в таком трудном положении, что именно поэтому то и дело совершает совершенно замечательные вещи. И это было бы одним из таких дел, это было бы не что иное, как благодарность за то, что ты сделал, и за то, что ты, может быть (существует ли в этом смысле какое-то бюрократическое давление? Ведь бывали целые годы, когда тебя ни к чему подобному не принуждали), сделаешь. Впрочем, такие вещи случаются не



только в Чехословакии, это хорошие последствия импровизаций военных пресс-ведомства.

Странно — следовало бы добавить, и это как-то связано с твоим окончательным решением относительно Берлина, хотя тут не все безусловно убедительно, — странно, что ты медлишь отдать все свои профессиональные способности, я имею в виду способности, которые хочешь применить здесь, сионизму.

Статью прилагаю, я прочел ее в поезде быстро несколько раз подряд, так бурно она написана (вплоть до нескольких уклончивых мелких завитков насчет служебных бумаг), но должно ли это относиться именно к Берлину? А не к любому ли большому городу, по крайней мере на западе, где условности, облегчающие «жизнь», неизбежно сдвигают сильней.

Ты упоминаешь свой роман в связи с занятиями каббалистикой, случайно ли это?

Стихи я получил вчера. Ты про меня помнишь. Пожалуйста, попроси Феликса и Оскара, чтобы они тоже меня не забывали, хоть я и не пишу.

Кстати, от М. я примерно неделю назад получил еще одно письмо, последнее. Она держится твердо и не меняется, примерно так же, как и ты, — ты ведь тоже не меняющийся, или, нет, женщины так о тебе не говорят. И все-таки, нет, в каком-то смысле, и это для меня особенно ценно, ты не меняешься и в отношении женщин.

[Матлиари, начало февраля 1921]

Дорогой Макс,

я послал тебе на адрес Кошеля бесконечное письмо, но оно могло прийти лишь не раньше 1 февраля. Ты его, наверное, еще получишь, а если нет, то невелика потеря, там ведь нет конца и нет середины, одно только начало, только начало. Я мог бы сейчас начать его заново, но к чему это Берлину.

Письмо оттягивалось из-за разных помех, которые в нем перечислены, но самая последняя не упомянута, ее я заподозрил, лишь когда письмо было уже отправлено. Дело в том, что я простыл, а может, и не простыл, я не знаю, каким образом мог простудиться, просто плохая погода, буря, длившаяся непрерывно уже почти две недели, попросту и без особых церемоний уложила меня в постель. Я пролежал четыре дня, сегодня еще тоже в постели, лишь сейчас, вечером, ненадолго встал. Ничего особенно скверного не было, просто из осторожности надо было перележать, я только кашлял и харкал, температура была не такая уж высокая, врач, внимательно послушав сегодня мои легкие, сказал, что там ничего нового, они даже лучше, чем несколько дней назад; тем не менее я от всего этого устал, и, если к концу пятой недели я прибавил в весе уже 4.20, завтра в лучшем случае будет то же самое. Но несмотря на достаточно сильную усталость и все помехи, я пока не хочу жаловаться, все, что было со мной за последние шесть недель, вместе взятое и сконцентрированное, не сравнится по разрушительной силе с тремя сутками в Меране, впрочем, тогда у меня, наверное, и сил было больше.

Среда.

Вчера мне помешали, но дружески, тут есть студент-медик 21 года[95], будапештский еврей, очень честолюбивый, умный, в том числе и как литератор, кстати, внешне похож на Верфеля, хотя черты его поглубже, общительный, какими бывают прирожденные врачи, антисемитски настроенный, его вожди — Иисус и Достоевский; он явился ко мне еще после девяти из главной виллы, чтобы наложить компресс (вряд ли нужный), его особая расположенность ко мне, очевидно, объясняется воздействием твоего имени, которое он очень хорошо знает. Конечно, его и кашауца очень заинтересовала возможность твоего приезда.

Что касается этой возможности, то я писал тебе в Прагу, что был бы весьма рад твоему приезду, но лишь в том случае, если ты собираешься ехать в Словакию или если ты приедешь, чтобы отдохнуть, то есть на более долгий срок. Если же ты хочешь приехать специально, из Праги, или из Брюнна, или (судя по твоим намекам, ты можешь это связать с берлинской поездкой), скажем, из Одерберга или другого отдаленного места, — пожалуйста, не надо ездить, это возложило бы на меня слишком большую ответственность!

Счастья тебе и радости в Берлине! Если я написал что-то злое о письме Демеля, то ты тут совершенно ни при чем. Любить женщину и быть недоступным страху или по меньшей мере совладать с этим страхом и вопреки ему взять женщину в жены — для меня это столь невозможное счастье, что я его — из классовой вражды — ненавижу. К тому же я знаю только письма из декабрьского номера.

И что такое вообще полупустые страхи перед полнотой жизни; они в твоей книге, они в том, как отобраны в ней времена и женщины, а сильней всего, кстати, в первых стихотворениях; так сильно, как в «Поцелуе», ты еще не высказывался; я, впрочем, лишь начинаю читать эту книгу, с ясной головой, в первый за недели хороший день и в первый день, когда я начал вставать.

Если ты приедешь, не захватишь ли одну из каббалистических книг, наверное, это на еврейском?

Твой Ф.

[Матлиари, начало марта 1921]

Дражайший Макс,

видимо, писем больше не будет, я ведь приеду через две недели и тогда, наверное, смогу ответить на вопросы твоего письма устно.

Получив твое письмо, которое во многом меня задело, я мысленно ответил настоящей вспышкой, но на бумагу это не излилось, у меня лежало несколько писем, нуждающихся в ответе (я не ответил на них до сих пор), будапештцев, о котором я в прошлый раз писал, долгое время требовал почти постоянного общения, но прежде всего навалилась усталость, я часами лежу в шезлонге в состоянии полудремы, в

каком ребенку видел дедушку с бабушкой. Чувствую я себя неважно, хотя врач утверждает, что легкие у меня наполовину залечены, но, по-моему, дела у меня вдвое хуже, я никогда еще так не кашлял, никогда так не задыхался, никогда не чувствовал такой слабости. Не спорю, в Праге было гораздо хуже; но если иметь в виду, что внешние обстоятельства, если не считать разных помех, на сей раз были довольно благоприятны, то я вообще не представляю, каким образом что-то может еще улучшиться.

Но глупо и заносчиво так говорить и принимать это так всерьез. В разгар небольшого приступа кашля его поневоле считаешь крайне важным; но, когда он отпустит, к нему можно относиться иначе. Когда темнеет, ты еще зажжешь свечу, но, когда она догорит, ты будешь тихо сидеть в темноте. Именно потому, что в доме отца нашего горниц много, не следует поднимать шума.

Я уже рад, что уезжаю отсюда, наверное, это надо было сделать еще месяц назад, но я так тяжел на подъем и так много людей здесь относятся ко мне с непонятной расположенностью, что, если бы мне продлили отпуск еще, я бы остался здесь дольше, тем более погода сейчас наконец улучшается. В лесу есть павильон, где можно иногда лежать, раздевшись до пояса, а на моем балконе можно и совсем раздеться.

Прочитав это, ты можешь решить, что я не отношусь к лечению всерьез. Напротив, я отношусь к нему ужасно серьезно, я даже ем мясо — с еще большим отвращением, чем все прочее; ошибкой было, что я до сих пор не жил среди легочных больных и, в сущности, не заглядывал в глаза болезни, я сделал это лишь здесь. Но последний шанс немного выздороветь был, наверное, в Меране... Ну и хватит, наконец, об этом, я это пишу, чтобы не пришлось больше говорить на эту тему в Праге.

Ты пишешь о Саломо Мольхо[96], как будто я когда-нибудь о нем слышал. А я ведь много пропустил за эту четверть года.

До свидания!

Франц

Виккерсдорфская анкета хорошо подходит к теме. Письмо Эссига я уже раньше случайно прочитал в газете и хотел послать тебе как пример особо отвратительный: «Глазки, что так мило щечкочут сердце». Конечно, тут нет ничего, в сущности, отвратительного, кроме того, что письмо теперь напечатано, а отправителя уже съели черви.

[Матлиари, начало марта 1921]

Дражайший Макс,

надеюсь, ты получишь это письмо одновременно с моим вчерашним. Вчерашнего не считай, я просто не написал тебе, в каких обстоятельствах оно писалось. Я лежал на своем канале, совершенно без сил после еды, из-за мучительного отсутствия аппетита у меня выступал пот на лице, когда я с ужасом видел перед собой полную тарелку, при этом я последние две недели ем много мяса, но, поскольку повариху, к которой я привык, заменил не столь умелый повар, от этого мяса обострился геморрой, днем и ночью меня мучили сильные боли — и в таком состоянии я писал тебе письмо. Но оно было неправильным. Потому что хоть кашляю я сильнее и больше задыхаюсь, но можно противопоставить и положительное: заключение врача, прибавку в весе, впрочем сейчас приостановившуюся, и хорошую температуру. Теперь мы скоро увидимся. Писать о таких вещах! И кто водит нашей рукой?

Твой Ф.

[Матлиари, середина марта 1921]

Дорогой Макс,

я попрошу тебя об одной большой услуге, к тому же это надо сделать сразу. Я хочу остаться здесь еще, не именно здесь, а в Татрах, вероятно, в санатории д-ра Гура в Полянке, который мне хвалят, он, впрочем, и намного дороже, чем Матлиари.

Остаться я хочу по следующим причинам:

1. Прежде всего доктор грозит мне возможностью полной катастрофы, если я сейчас поеду в Прагу, и сулит мне, если я останусь до осени, относительное выздоровление, так что мне потом достаточно будет проводить шесть недель в году у моря или в горах, чтобы держаться. И то и другое пророчество, второе особенно, преувеличены, тем не менее он каждое утро мучает меня таким образом, отечески, дружески, всячески. И хотя я знаю, что пыл его предсказаний во всех отношениях поубавился бы, знай он, что я собираюсь переселяться в Полянку, все-таки это производит на меня впечатление.

2. Домашние все просят меня остаться, сами не представляя, как много у них для этого оснований. С тех пор как я здесь живу среди легочных больных, я твердо знаю, что хотя для здоровых людей нет возможности заразиться, здоровы здесь разве что, например, лесорубы в лесу или прислуга на здешней кухне (которые прямо руками доедают остатки еды с тарелок тех самых больных, напротив которых я даже сажусь с опаской), но никто из нашего городского круга. Как ужасно сидеть, например, против человека с большой гортанью (кровный брат легочного больного, печальный брат), он дружелюбно и безобидно сидит перед тобой, смотрит на тебя ясными глазами легочного больного и при этом брызжет тебе в лицо сквозь растопыренные пальцы гноем своих туберкулезных язв. Ничего особенно страшного, но так же и я буду сидеть дома, «добрым дядюшкой» среди детей.

3. Наверное, я хорошо бы выдержал в Праге весну и лето, во всяком случае, д-р Краль письменно советует мне приехать, теперь же он в разговоре с родителями взял свой совет обратно (эти колебания объясняются колебаниями в моих письмах), но правильнее все-таки было бы, наверное, принять какое-то половинчатое решение, если, как уверяет доктор, мое состояние действительно улучшается. И где бы я мог провести теплое время лучше, чем высоко в горах (Полянка расположена на высоте 1100 м). Я знаю, где мне было бы посильно работать; но я не знаю такой деревни.

4. Но главное — мое субъективное состояние, и оно — конечно, тут есть еще бесконечно много возможностей для ухудшения — не особенно хорошо, кашель и одышка усилились, как никогда прежде, в разгар зимы — а зима была трудная, не из-за холода, а из-за нескончаемых снежных бурь — одышка стала почти отчаянной, теперь погода исправилась, и с этим тоже стало, конечно, лучше. Я только говорю себе: если я вправе ссылаться на мое субъективное состояние, тогда безразлично все, что связано с моей службой, — нет, тут я не прав, тогда связанное с моей службой не безразлично, тогда мне это особенно нужно, но, если я буду относительно здоров, тогда мне это не так нужно.

Мой отпуск заканчивается 20 марта, я слишком долго раздумывал, что мне делать, из чистой робости и нерешительности я дотянул до этих, самых последних дней, когда просьба о продлении отпуска превращается в почти неприличный шантаж. Ибо вообще-то естественнее было бы сначала спросить, что думает об этом директор, а затем в зависимости от его ответа подать заявление, потом это заявление предъявить администрации и т. д. Теперь же все это, конечно, слишком поздно, письменно уже ничего не сделаешь, вымогательский характер моих действий мог бы быть смягчен лишь моей устной просьбой, то есть я мог бы поехать в Прагу, но надо ли мне тратить время? Тогда с просьбой туда могла бы пойти Оттла, но вправе ли я просить ее об этом в ее состоянии? К тому же я не хотел бы объяснять ей все так же подробно, как тебе. Таким образом, ты один, Макс, остаешься человеком, на которого я возлагаю это бремя. Просьба моя заключается в том, чтобы ты по возможности скорее пошел к моему директору Одрстчилу с врачебным заключением, которое я прилагаю (я получу его только после обеда, надеюсь, оно будет таким, как мне обещали), лучше всего пойти туда к 11 утра; что сказать, ты знаешь, конечно, лучше меня, я хочу лишь сказать, как это себе сам представляю, например:

Я, разумеется, способен ходить в бюро (между нами говоря, способен выполнять и работу (!), которая там есть), но так было и до моего отъезда, однако так же несомненно, что осенью мне придется уехать опять и снова состояние мое будет немного хуже, чем прошлой осенью. Врач обещает мне длительную работоспособность, лишь если я останусь на 4–6 месяцев, поэтому я прошу продлить мне отпуск, пока что месяца на два, после чего снова пришлю подробное медицинское заключение. Я прошу этот отпуск, если мне его предоставят, за полное жалование, за три четверти, за половину, только совсем без жалования меня оставлять нельзя, и с переводом на пенсию тоже надо потерпеть. Впрочем, эти полгода можно не засчитывать и для продвижения по службе, и для пенсии. Такое отчасти ограниченное разрешение на отпуск было бы для меня даже облегчением, потому что я слишком хорошо сознаю, что я уже получил от этого отпуска в этом заведении. Конечно, так просить об отпуске, как это делаю я, нельзя, и это можно извинить только тем, что я до сих пор сомневался и лишь сейчас подробнее переговорил с врачом. Я также знаю, что сначала надо написать заявление и т. д., но, может, не поздно заявление написать задним числом, учитывая, что я могу рассчитывать на согласие оставить меня здесь и что я не должен буду 20-го приступать к работе. Если же это невозможно, я мог бы так или иначе на какое-то время приехать в Прагу.

Примерно так надо бы поговорить, и тогда, Макс, ты должен мне телеграфировать: «Оставайся» или «Приезжай».

Еще кое-что о директоре. Это очень добрый, отзывчивый человек, особенно ко мне он добр необычайно, правда, тут примешиваются и политические причины, ведь тогда он может говорить немцам, что необычайно хорошо относится к одному из них, хотя, в сущности, речь идет всего лишь о еврее.

И о жалованье поговори, пожалуйста, как следует, не упоминай также про богатство моего отца, ибо, во-первых, его нет, а во-вторых, если есть, то наверняка не для меня.

Подчеркивай некорректность моего поведения, потому что корректность, поддержание своего авторитета для него значат много.

Разговор наверняка перейдет на общие темы, и сделает это он, ведь ты пришел к нему. Тогда, наверное, ты мог бы — не для того, чтобы его подкупить, это мне ни к чему, а просто чтоб доставить ему удовольствие, потому что я в самом деле чувствую себя ему обязанным, — мимоходом упомянуть, что я часто говорил о прямо-таки творческом его красноречии и с восхищением учился у него живому разговорному чешскому языку. Может, ты этого не очень-то заметишь, с тех пор как он директор, он эту силу почти утратил, бюрократизм не дает ей больше проявиться, ему приходится слишком много говорить. Кстати, он профессор и пишет на социологические темы, но этого ты знать не должен... Ты можешь, конечно, говорить по-немецки или по-чешски, как захочешь.

Вот такая задача. Когда я думаю, что добавляю ко всем твоим делам еще и такое, я чувствую себя, поверь, не лучшим образом, но со всех сторон подступает, и надо где-то прорваться, а ты, Макс, должен страдать. Прости меня.

Твой Ф.

Да, еще: не исключено, что Оттла со своей стороны предпринимала что-то подобное, тогда хорошо бы сначала ее у нас расспросить.

Может, тебе покажется, что я слишком робею перед бюро. Нет. Прими во внимание, что бюро никак не виновато в моей болезни, далее, что оно страдает не просто от моей болезни, а от ее уже пятилетнего течения, что оно держалось по отношению ко мне порядочно, когда я почти бессознательно влачил свои дни.

Если мне здесь придется остаться, тогда я, наверное, увижу тебя здесь, это было бы славно.

Множество приветов твоей жене и Феликсу, и всем, кто там, и Оскару, и всем, кто там.

[Матлиари, середина апреля 1921]

Дражайший Макс,

как может не получиться новелла[97] сейчас, когда у тебя есть покой, чтобы выдержать напряжение, и новелла должна родиться, как удачное дитя самой жизни. И как разумно все у тебя складывается, в том числе на службе. На прежней службе ты был ленивый чиновник, потому что твоя неслужебная деятельность никак не ценилась, ее самое большее терпели и прощали, теперь же она — главное и придает тому, что ты делаешь на службе, подлинную, не доступную никому из других сотрудников ценность, так что ты и в отношении службы можешь считаться человеком весьма усердным, даже если ничего там не делаешь. Наконец — и главное, — как ты поистине

могучей рукой справляешься с браком, да еще с Лейпцигом вдобавок, и притом все время еще и с самим собой, и в браке, и в Лейпциге полагаясь на реальность, хотя и не понимая ее. Всяческих успехов на твоём трудном, высоком, гордом пути!

А я? Когда я перебираю вести о тебе, Феликсе и Оскаре и сравниваю вас с собой, мне кажется, будто я блуждаю, как дитя, в лесах зрелого возраста.

Дни снова прошли в усталости, в ничегонеделании, в созерцании облаков, да еще в неприятностях. Это в самом деле так, все вы утвердились как мужчины. Незаметно, тут дело решает даже не вступление в брак, просто существуют, наверное, судьбы с историческим развитием и без него. Иногда я ради забавы представляю себе некоего грека, который попадает в Троию, хотя этого и не желал. Он не успел там даже оглядеться, как уже угодил в свалку, самим богам неизвестно, о чем тут речь, а он уже повис на троянской боевой колеснице, и его тащит вокруг города, до песен Гомера еще далеко, а он уже лежит с остекленевшими глазами, если не в троянской пыли, то на подушках шезлонга. А почему? Гекуба ему, разумеется, ничто, да и Елена не так уж важна; если другие греки выступали в путь по зову богов и сражались под их защитой, он послан туда отцовским пинком и сражается, проклятый отцом; хорошо, что были еще и другие греки, не то мировая история оказалась бы ограничена двумя комнатами родительского дома с порогом между ними.

Болезнь, о которой я писал, оказалась катаром кишок, тяжелым, как еще никогда, я был убежден, что это кишечный туберкулез (что такое кишечный туберкулез, я знаю, на моих глазах умерла от него кузина Феликса); один день у меня была температура 40, но все, надеюсь, обошлось без последствий, а потерянный вес можно будет восстановить. Кстати, человека, которого так мучили и о котором я однажды писал, больше нет, он наполовину умышленно, наполовину нечаянно упал на ходу между двумя вагонами скорого поезда, между буферами. Впрочем, он ушел отсюда почти в беспомысленности, рано утром, вроде бы на небольшую прогулку, без часов, бумажника и вещей, прогулка эта растянулась до трамвая, там до Попрада, дальше в скором поезде и все в направлении к Праге, чтобы навестить на Пасху свою семью, но потом он передумал и прыгнул. Мы все здесь несем свою долю вины, не за его самоубийство, а за его отчаяние в последнее время, каждый боялся общаться с ним, человеком весьма общительным, и проявлял это самым бесцеремонным образом, как отталкивают других локтями мужчины на тонущем корабле. Я не имею в виду врача, сестру и горничную, в этом смысле я глубоко их уважаю. Кстати, потом прибыл еще один такой же больной, но он уже уехал.

Мне случайно попала в руки одна пражская газета (здесь был несколько дней один турист из Моравской Остравы и, хоть мы с ним ни разу даже не разговаривали, дружелюбно всучил мне кучу газет, сам он здесь читал, как мне говорили, «Борьбу за еврейство»[98]), и там я прочел, что Хаас женился на Ярмиле, меня это не удивило, я всегда считал Хааса способным на многое, но вообще это поразительно. Ты не знаешь подробностей?

Ты пишешь, что мне, может быть, надо найти какую-нибудь незначительную службу, очень мило с твоей стороны, но это не для меня. Если бы мне предложили исполнить три любых желания, то я, отвлекшись от темных страстей, пожелал бы: относительной поправки здоровья (врачи это обещают, но я ничего подобного не замечаю, хотя в последние годы часто выезжаю на лечение, обычно после трех месяцев лечения мне всегда бывало лучше, чем сейчас, а если с чем-то и стало за эти три месяца лучше, так это скорее с погодой, чем с легкими, впрочем, не следует забывать, что моя ипохондрия, прежде распространявшаяся на все тело, теперь сосредоточилась на легких), далее, другой страны на юге (это не должна быть Палестина, в первый месяц я много читал Библию, но это прошло) и какого-нибудь ремесла. Не такие уж это большие желания, среди них нет даже жены и детей.

[Матлиари, середина апреля 1921]

Дражайший Макс,

едва получив книгу, я в тот же день сразу прочел ее два, почти три раза, потом одолжил, чтобы ее скорее почитали другие; когда она вернулась, я прочел ее четвертый раз, а теперь опять одолжил, вот как я спешу. Но это можно понять, ведь книга такая живая, а когда прстоишь какое-то время в глубокой тени и потом увидишь такую жизнь, в нее поневоле тянет. Это, в сущности, не столько некролог[99], сколько бракосочетание между вами, живое, печальное и полное отчаяния, как всякое бракосочетание для вступающих в него, и счастливое, так что у тех, кто смотрит на него, вытаращены глаза и бьется сердце, и можно ли смотреть на это, не вступив самому в брак, даже если ты лежишь совершенно одинокий в комнате. И эта жизненность лишь возрастает оттого, что рассказываешь об этом только ты, нашедший силы выжить, и делаешь это так нежно, что заглушаешь умершего, но он говорит вместе с тобой, ты заставляешь услышать его беззвучный голос, и он может даже положить руку тебе на губы, чтобы приглушить твой голос там, где ему это кажется нужным. Это чудесно, и при всем том, если угодно, — книга настолько отдана на волю читателя, настолько дает она ему свободу воли при всей своей внутренней силе — вновь лишь живущий говорит во всю ту мощь, какой обладает для живущего жизнь перед лицом смерти, все вместе встает как надгробие, но одновременно как столп жизни, а непосредственной всего захватывают меня места, которые для тебя, может быть, несущественны, вроде такого: «Я ли был безумен или он?» Здесь перед нами встает человек, верный, неизменный, всегда с открытым взором, неиссякаемый источник, человек, который — я выражу это парадоксально, но мысль моя проста — не может понять понятного.

Это было вчера, я хотел сказать еще кое-что, но сегодня пришло письмо от М. Я не должен бы тебе о нем говорить, потому что она тебе обещала, что не будет мне писать. Я это имею в виду, и потому, что касается М., можешь считать, что я тебе ничего не говорил: я это знаю. Какое счастье, Макс, что ты у меня есть.

Но сообщить тебе об этом письме я должен вот почему. М. пишет, что она больна, болезнь легочная, она началась уже давно, незадолго перед нашей встречей, но тогда это было легко, в той робкой форме, с какой болезнь нередко возникает, можно было почти не обращать на нее внимания. Теперь же, видимо, стало хуже, но она сильна, жизнь в ней сильна, моей фантазии недостает, чтобы представить М. больной. У тебя ведь тоже о ней другие сведения. Впрочем, она написала своему отцу, он был приветлив, она едет в Прагу, будет жить у него, а потом поедет в Италию (предложение отца поехать в Татры она отклонила, но сейчас, в разгар весны, в Италию?). Очень странно, что она будет жить у отца; если они помирились, где останется ее муж?

Но ради всего этого я бы не стал тебе писать, речь идет, конечно, лишь обо мне. Речь идет о том, чтобы ты держал меня в курсе пребывания М. в Праге (о котором ты ведь знаешь) и как долго оно продлится, чтобы я не оказался в Праге в то же самое время, и ты

дашь мне знать, если М. все-таки поедет в Татры, чтобы я вовремя уехал. Хотя встреча уже не означала бы необходимости рвать на себе волосы, но она оставила бы ссадины на голове и в мозгу.

Однако если ты выполнишь эту мою просьбу, не надо при этом опять говорить, что ты меня не понимаешь. Я уже давно хотел тебе об этом написать, но был слишком усталый, намекал же тебе часто, для тебя в этом не должно быть ничего нового, хотя так грубо я еще этого не высказывал. В этом нет и ничего такого уж особенного, у тебя на эту тему есть один ранний рассказ, кстати дружелюбный, это болезнь инстинкта, цвет времени, и вообще ведь может хватить жизненных сил как-то с этим справиться, но мои жизненные силы не дают для этого никаких возможностей или только возможность бежать, да еще в таком состоянии, когда постороннему (впрочем, и мне самому) становится непонятно, что здесь еще можно спасти, но не всегда же бегут, чтобы спастись, ведь и пепел, который уносит ветром с костра, улетает не для того, чтобы спастись.

Я не говорю о счастливых, в этом отношении счастливых, временах детства, когда двери еще были закрыты, за ними совещался суд (отец присяжных, заполнив собой все двери, с тех пор давно уже из них вышел), но потом случилось так, что меня влекло тело каждой второй девушки, только не тело той девушки, с которой (поэтому?) были связаны мои надежды. Когда она от меня уходила (Ф.) или когда мы соединялись (М.), это была лишь угроза, отдаленная и даже не столь уж отдаленная, но стоило случиться какой-нибудь мелочи, как все рушилось. Должно быть, из чувства собственного достоинства, из-за своего высокомерия (хотя он на вид такой униженный, кривой западный еврей!) я способен был любить лишь то, что мог поставить настолько выше себя, что оно становилось для меня недостижимым.

Вот зерно того, что разрослось, впрочем, невероятно — до размеров «смертного страха». И разрослось не только поверх этого зерна, но, разумеется, и под ним.

Крушение же потом было ужасно, об этом я не хочу говорить. Только одно: в отеле «Империал» ты ошибся; то, что тебе показалось восторгом, было стуком зубов. Счастливыми были только отнятые у ночи осколки четырех дней, уже буквально недоступные, оказавшиеся в запертом ящике, счастьем был стон после этого достижения.

И вот теперь у меня опять ее письмо, без всяких требований, одно только известие, на которое ожидается ответ, позади вечер, от которого разламываются виски, впереди ночь, а больше из этого ничего не получится/Она для меня недостижима, с этим я должен считаться, и силы мои в таком состоянии, что я только рад. Так к страданию добавляется еще и стыд, примерно как если бы Наполеон сказал демону, который посылал его в Россию: «Сейчас я не могу, мне надо еще выпить вечернее молоко», а когда демон спросил бы: «И долго это будет продолжаться?» — ответил бы: «Да, я должен его разжевать».

Ну, а теперь ты понимаешь?

[Матлиари, апрель 1921]

Дорогой Макс,

ты, наверное, не получил мое последнее письмо (о Шрайбере и о М.)? Возможно, я отослал его не по тому адресу. Мне было бы жаль, если бы оно попало в чужие руки.

Большое спасибо за фельетон, за пражский дневник. Ты не представляешь, какая это для меня радость, иначе бы посылал мне все свои публикации. Мне попадает даже не все из того, что появляется в «Зельбствере», из статьи о Ку, например (немного буйно, немного в повышенных тонах, немного поспешно, но такая радость читать), я знаю лишь вторую часть. И часто ты пишешь такие критические работы, как о Расине[100]? (Кстати, мило, как ты в первой колонке засыпаешь и, проснувшись, досадуешь, что тут так мало публики. Интересно также, как ты в этаким отчаянии, но счастливый тем, что живешь, ищешь на этой старой могиле назначение Расина, что невозможно, ибо это значит идти на все стороны света сразу, если только тут же не отступишь в сторонку и не начнешь фантазировать так славно, как это делаешь ты.)

Спасибо за твои слова о медике, он этого заслуживает, впрочем, ему, наверное, придется пробыть за городом даже дольше, чем до осени, хотя болезнь его совершенно незаметна, это крупный широкоплечий, краснощекий блондин, в одежде он кажется даже слишком крепышом, у него почти никаких недомоганий, нет кашля, разве что иногда повышенная температура. Представив его тебе немного внешне (в кровати, в рубашке, со всклокоченными волосами, с юношеским лицом, как на гравюрах к детским рассказам Гофмана, при этом серьезным, напряженным, хотя и мечтательным — тогда он почти красив), так вот, представив его, я обращаюсь за него с двумя просьбами. На первую тебе нетрудно дать ответ, опираясь на собственный опыт. На что он мог бы рассчитывать в Праге по части поддержки и облегчения жизни? У него две рекомендации, одна приватная, от будапештского раввина к раввину Шварцу, и очень хорошая от будапештской религиозной общины к пражской, с особенно сердечным приложением раввина Эдельштейна, учеником которого он был. Только я, пожалуй, боюсь, что такие рекомендации имеются у каждого иностранца, приезжающего в Прагу. И потом, будет ли существенным облегчением для допуска в университет и прочей жизни, если он получит чехословацкое гражданство? (Это он, наверное, может, у него безобидная фамилия — Клопшток, и его давно покойный отец был родом из Словакии...)

Ты спрашиваешь про мое здоровье. Температура хорошая, лихорадит очень редко, даже 36,9 не каждый день, и это еще если градусник кладешь в рот, где на две-три десятых теплей, чем под мышкой; если бы не чрезмерные колебания, ее можно было бы назвать почти нормальной, конечно, я в основном лежу. Кашель, мокрота, одышка поменьше, но поменьше как раз с тех пор, как улучшилась погода, то есть скорее надо говорить об улучшении погоды, чем состояния. Прибавил я около 6? кг. Досадно, что не бывает двух дней подряд, даже если не говорить о легких и об ипохондрии, когда я вполне здоров. Твоими советами я вовсе не пренебрегаю. Но про локопановую мазь здесь не слыхали, милая, нежная, высокая, белокурая, голубоглазая аптекарша в Ломнице посмотрела на меня недоверчиво, не издеваюсь ли я над ней, ведь так в самом деле каждый от нечего делать может придумать какое-нибудь смешное название и спросить, есть ли такая мазь. Инъекции — ну, доктор Краль за это, мой дядя против, здешний врач за это, доктор Сцонтаг в Смоковце против, я же в этом консилиуме склоняюсь против, ты, Макс, не можешь ведь тут возражать, тем более в твоей книге тоже есть на этот счет предостережение. Статью против прививок я уже читал раньше, остравская «Моргенцайтунг» — единственная газета, которую я

получаю ежедневно, и также читаю и медицинское приложение, причем написанное явно юмористами. (Сюда, кстати, можно бы отнести и некоторые научные чтения здешнего врача, который мне, однако, очень нравится.) В статье приводится обычная искусственная статистика, которая не опровергает упреки сторонников лечения природными факторами («Ни один получивший прививки не считал себя счастливым перед смертью»), медицина исследует вредные последствия за очень ограниченное время, сторонники природного лечения относятся к этому с презрением. Можно также поверить, что туберкулез будет введен в рамки, каждая болезнь в конце концов будет введена в рамки. С этим, как с войной, — каждая кончается, и ничто не прекращается. Туберкулез так же мало зависит от легких, как, например, причина мировой войны от ультиматума. Существует лишь одна болезнь, не больше, и медицина преследует эту болезнь вслепую, как зверя в бесконечном лесу... Но советом твоим я не пренебрегаю. Как ты можешь такое подумать.

Франц

[Матлиари, начало мая 1921]

Дорогой Макс,

все еще непонятно? Это странно, но тем лучше, значит, значит, что-то было не так, не так в отдельном случае, не так, если это не распространяется на всю жизнь. (Распространяется? Значит, смазывается? Я не знаю.) Ты будешь говорить с М., мне этого счастья уже не будет дано. Когда ты будешь говорить с ней обо мне, говори, как о мертвом, я имею в виду мое «пребывание вне», мою «экстерриториальность». Когда у меня недавно был Эренштейн[101], он сказал, что в лице М. жизнь протянула мне руку и у меня был выбор между жизнью и смертью; это были слишком высокие слова (не по отношению к М., по отношению ко мне), но, в сущности, верные, было только глупо, что он, кажется, думал, будто у меня была возможность выбора. Если бы еще существовал дельфийский оракул, я бы спросил его и он бы ответил: «Выбор между смертью и жизнью? Как ты можешь колебаться?»

Ты все время пишешь о выздоровлении. Для меня ведь это исключено (не только с точки зрения легких, но и с точки зрения всего другого, в последнее время, например, меня опять охватила волна беспокойства, бессонница, малейший шорох заставляет страдать, а шорохи возникают буквально в пустом воздухе, об этом я мог бы рассказывать целые истории, и когда исчерпаны все дневные и вечерние возможности, ночью, как, например, сегодня, собирается маленькая группа чертей, и они весело беседуют в полночь перед моим домом. Затем рано утром появляются служащие, которые вечером возвращались домой с христианско-социального собрания, добрые, невинные люди. Никто не умеет так маскироваться, как черти), так что это исключено, стоит только взглянуть на это против воли живущее тело, которое мозг, испуганный тем, что он натворил, опять же вопреки себе, хочет принудить жить, жить против желания, оно не может есть, да еще фурункул, с которого вчера была снята повязка, требует большой перевязки на целый месяц, прежде чем он кое-как залечится (веселый доктор, впрочем, готов предложить помощь — инъекции мышьяка, я сказал спасибо), так что это исключено, но это и не самое главное, чего я хочу.

Ты пишешь о девушках, ни одна девушка меня тут не держит (тем более не та, что на фотографии, да они все уже несколько месяцев как уехали), и нигде ни одна не будет меня держать. Странно, как мало у женщин проницательности, они примечают лишь, нравятся ли они, затем, сочувствуют ли им и, наконец, ищут ли у них сострадания, это все, но вообще-то довольно и этого.

Я, собственно, общаюсь лишь с практикантом, все остальное лишь попутно, если кому-то что-то от меня нужно, он говорит об этом врачу, если мне что-то от кого-то нужно, я тоже говорю ему. И все-таки это не одиночество, отнюдь не одиночество, полуудобная жизнь, внешне полуудобная в меняющемся кругу весьма дружелюбных людей, конечно, я не тону у всех на глазах, и никто не должен меня спасать, и они так любезны, что не тонут, некоторая любезность имеет к тому же вполне очевидные причины, так, например, я даю много чаевых (относительно много, здесь все довольно дешево), что необходимо, так как обер-кельнер недавно написал своей жене в Будапешт письмо, ставшее между тем общеизвестным, где он проводит примерно такое различие между гостями по признаку чаевых: «Двенадцать гостей пусть остаются, а остальных черт бы побрал» — и затем начинает перебирать этих других поименно с примечаниями, как в литании: «Черт бы побрал милую фрау Г.» (между прочим, действительно милая, юная, похожая на ребенка крестьянка из Ципса) и т. д. Меня в этом перечислении нет, и если черт меня приберет, то наверняка не из-за недостаточных чаевых.

Так, значит, Оскар еще в «Прессе», не в «Абендблатт»? А это газета такого рода, что стоило бы ему советовать пойти туда? С уроками он покончил? Не можешь ли ты послать мне номер со статьей Оскара? Я еще этой газеты не видел. Пауль Адлер тоже там? А Феликс? Такие вещи уже бывали. Дела идут в гору? Его это трогает? До сих пор он, в сущности, этим не занимался, в основном он жил все-таки в Риме и боролся с варварами лишь на азиатской границе. Что-то стало хуже? Ребенок? Будет ли на этот раз летняя дача? Будь здоров.

Франц

[Матлиари, конец мая — начало июня 1921]

Дражайший Макс —

я так тебе обязан, так много от тебя получил, ты так много для меня сделал, а я лежу тут, одеревенелый и тихий, и все мое существо терпит муки из-за человека, который ставит в соседних комнатах печи, а потому каждое утро, включая выходные, начинается в 5 утра стуком молотка, пением и посвистыванием и так продолжается без перерыва до 7 вечера, потом он немного унимается и ложится спать до 9, что я, впрочем, делаю тоже, но заснуть не могу, потому что у других людей другой режим, и я чувствую себя как бы патриархом Матлиари, который ложится спать лишь тогда, когда заснет последняя болтуня-горничная. И конечно, дело не в том, что мне мешает именно этот человек (сегодня днем горничная, хотя я силой удерживал ее от этого, запретила ему свистеть, и теперь он, пока только не забудется, стучит без свиста и, наверное, меня прокликает, хотя, сказать по правде, это все-таки лучше), если он замолкает, его готово заменить любое другое существо, любой способен это сделать и делает. Дело не просто в здешнем шуме и даже не в мировом шуме, а в том, что сам я не способен шуметь.

Но если не считать длительного невысыпания, я не хотел тебе писать перед встречей с М., я все время беспомощно запутываюсь во лжи, когда пишу о ней, и не хотел бы оказывать на тебя влияния — не столько ради тебя, сколько ради себя. А теперь ты ее, стало быть,

видел. Я не могу понять, как она помирилась со своим отцом, ты тоже, видимо, этого не знаешь. Готов был поверить, что выглядишь она неплохо. Стрба расположено где-то на противоположном конце Татр (самое высокое селение, но это, собственно, не санаторий). Прости за то, что я тебе тогда напечатал, это получилось в первом безотчетном возбуждении из-за ее тогдашнего письма, впрочем, я, и поразмыслив, просил тебя об этом. Я не сомневался, что она сразу же расскажет тебе о своем письме, но она имела право требовать, чтобы я о письме молчал. То, что ты пишешь об «излишнем» письме и о том, «что так дело дальше не пойдет», видимо, указывает на то, что она больше не хочет обо мне знать. (Я запутался во лжи, как уже сказано.) «Приговор в лицо», да, это самое существенное, что следует сначала уяснить, конечно будучи посторонним по отношению к такой девушке. Ты распробовал фальшь, я этого не смог, тем не менее я подкарауливал. При этом я не преувеличиваю истинности таких приговоров, они не тверды, одно слово может ослабить их, я не хотел бы быть кораблем с таким рулевым, но они смелы, значительны и указывают дорогу к богам, по меньшей мере олимпийским.

Я не думаю также, что сказал тебе что-то определенное об отношении М. к твоей жене. Этот приговор М. тоже во многом ограничен и почти опровергнут. При чем тут Лизль Беер, я совершенно не помню, разве только одно замечание М. после того, как она встретилась с Хаасом и твоей женой, твоя жена рассказывала о тебе, и некоторая смиренность восхищения вызвала у М. такую ярость. Здесь ведь трудный случай, о котором я много думал. Попробуй перебрать подруг твоей жены, в которых ты не сомневаешься, и это наверняка окажутся именно те подруги, которых твоя жена в принципе презирает. Я могу об этом говорить свободней, чем кто-либо. В каком-то общественном, социальном смысле (именно в таком смысле, который определяет одиночество твоей жены) я необычайно на твою жену похож (что, однако, не означает близости), так похож, что при беглом взгляде нас можно счесть одинаковыми. И это сходство, по-моему, не ограничивается лишь сегодняшним результатом, а охватывает также первоначальные задатки, задатки добрых, целеустремленных, но в чем-то запятанных детей. В то же время между нами существует и почти неуловимое невооруженным взглядом, но все-таки реальное различие, мелочь, ничтожный пустяк, однако его достаточно, чтобы сделать меня, не привлекая никакого другого социального материала, любезным тому, кого твоя жена, как утверждает М., ненавидит. Конечно, и твоя жена, вступив в брак, отважилась глубже проникнуть в жизнь, чем я, никому не придет в голову мерить мою ценность по моему положению в жизни, а кому это придет в голову, тому верить не стоит.

Со Сташей М., наверное, опять помирился, это повторяется раз или два в течение полугода, впрочем, Сташа была по отношению ко мне пронизательна, уже при первой встрече она поняла, что на меня не стоит полагаться. Но такие женские разговоры никогда не производили на меня большого, а тем более чрезмерного впечатления. Когда я слышу разговоры вроде: она замечательная, он не замечательный, он любит ее, она любит его, она неверна, он должен отравиться — и все это произносится одним, глубоко убежденным, страстным тоном, во мне неумолимо поднимается опасное, лишь на вид мальчишеское, на деле же разрушительное чувство.

Я хотел сказать: все это представляется мне...

(Запись обрывается.)

Первый сравнительно спокойный день после двухнедельного мученичества. Та относительно отшельническая, вне мира, жизнь, которую я здесь веду, сама по себе не хуже других, жаловаться нет причин; но если туда, во внемирность, доносятся голоса мира, точно голоса осквернителей гробниц, я срываюсь и буквально бьюсь лбом о слегка лишь притворенную дверь безумия. Достаточно мелочи, чтоб довести меня до такого состояния, достаточно, чтобы под моим балконом лежал лицом ко мне в шезлонге один молодой полунабожный венгерский еврей, удобно растянувшись, одна рука под голову, другая глубоко в разрезе брюк, и целый день с неизменной веселостью мурлыкал хромовые напевы. (Что за народ!) Достаточно чего-нибудь в этом роде, остальное сразу присовокупляется, я лежу на своем балконе, точно барабан, по которому колотят и сверху, и снизу, и вообще со всех сторон, я уже перестаю верить, что где-то на земной поверхности существует покой, я не могу ни бодрствовать, ни спать, даже если в виде исключения станет тихо, я не могу больше спать, потому что слишком выбит из колеи. Я не могу также и писать, а ты меня упрекаешь, я не могу даже читать. Три дня назад (с помощью практиканта) я нашел в лесу, недалеко, прекрасный луг, настоящий остров между двумя ручейками, где очень тихо, я трижды ходил туда после обеда (с утра там, конечно, солдаты), и это так хорошо подействовало на меня, что я там даже ненадолго заснул; в честь чего и пишу сегодня тебе.

Ты едешь на Балтийское море, куда именно? Недавно я читал о разных дешевых местах для купания на Балтике. Рекомендовались Тиссов, Шарбойц, Нест, Хаффкруг, Тиммендорфский берег, Ниндорф, каждый не дороже 30–40 м. в день. С кем ты едешь? С женой, один или с другими? Я часто подумываю о Балтийском море, то есть скорее мечтаю, чем думаю.

Твоя сестра любезно мне написала, и мазь я получил. Это очень кстати, зимой было совсем плохо (теперь меня защищают воздушные ванны), но, если эта мазь в самом деле действует так сильно и препятствует появлению фурункулов, она может легко обернуться тем, что называют заложничеством человечества, ибо мазью можно не уменьшить число голов у адского пса, а лишь увеличить.

К сказанному хочу еще добавить, что все эти женские разговоры кажутся мне смешными, самоуверенными, тщеславными, безнадежно комичными, сравнимыми с жалкой плотью, которая вызывает их к жизни. Они играют в свои игры, но что мне до них.

При этом я и здесь раз-другой прогулялся утром с одной девушкой в лес, о котором можно сказать, как о королевском столе: он ломится от изобилия. И ничего не произошло, девушка даже не бросила на меня взгляда, она ничего, наверное, и не заметила, да ничего тут и нет, и не было, и не будет, хотя условия весьма благоприятствовали, никаких последствий. Впрочем, это и неудивительно, если...

(Запись обрывается.)

(Два примечания па полях:)

Пошлю пока это, завтра продолжу. Я пишу тебе так обрывочно, бессонница — без новых причин, лишь по старой инерции — мешает писать по-другому. Спасибо за телеграмму.

[Матлиари, июнь 1921]

несколько дней назад я отложил в сторону продолжение письма, мне вдруг пришло в голову, не обижен ли ты на меня; когда я писал тебе письмо, у меня и мысли такой не было, теоретически ведь тут был куда более глубокий поклон твоей жене, чем я отважился бы это сделать реально; а потом я подумал, что, может быть, это, к счастью, не так. Впрочем, я привел неправильный пример, М. ненавидит почти всех евреек, а литература тут лишь прибавляет, но и твой контрдовод слабый, эти «христианские» дружбы вряд ли выходят за пределы этнографического интереса, и как они могут быть глубже; но прежде всего я бы не стал так подчеркивать отрицательные стороны, ошибки дружеских отношений; так что теория остается, остается, как кол в моем теле.

Книга уже так продвинулась? И так удачно? А я ничего об этом не знаю, так далеко, так далеко. И на Балтийском море я тоже ничего об этом не узнаю. Сейчас могу сказать откровенно, что больше всего мне хотелось поехать с тобой. Совсем не сказать об этом я не мог, но и сказать прямо не мог, потому что это значило бы так или иначе тащить с собой больного. Когда я пробую, например, в этом отношении поставить себя на твое место, я вижу, что, будь я здоровым, легочный больной рядом мне бы очень мешал — не только потому, что это грозило бы опасностью заразиться, но прежде всего потому, что долгое болезненное состояние грязно, грязно несоответствие между видом лица и легких, все грязно. Мне противно видеть, как харкают другие, и сам я не держу бутылочку для мокроты, как мне положено. Но теперь все эти сомнения и вовсе отпадают, врач безусловно запретил мне ехать к морю на север, он не заинтересован в том, чтоб задерживать меня на лето, наоборот, он разрешает мне и уехать — в леса, куда угодно, только не к морю; впрочем, мне разрешено и даже рекомендовано поехать и к морю, но в Нерви, зимой. Такие дела. И я уже очень порадовался за тебя, за поездку, мир, шум моря. Шумят и ручьи на лугу, и деревья, и это успокаивает тоже, но все это ненадежно, приходят солдаты — а теперь они все время там и превратили луг в кабак, — тогда ручей и лес шумят заодно с ними, в них общий дух, один черт. Я пытаюсь отсюда выбраться, как ты советуешь, но существует ли возможность покоя где-нибудь, кроме как в сердце? Вчера я, например, был в Тарайке, там кабачок в горах, на высоте 1300 м, дико, красиво, у меня была великолепная протекция, для меня старались как могли, хотя народу было полно, хотели приготовить мне что-нибудь вегетарианское, гораздо лучше, чем здесь, хотели еду из высокогорных...

(Запись обрывается.)

Это уже старые истории, там было больше шума от туристов и цыганской музыки, чем здесь, так что я опять остался здесь, никуда не двигаясь, как будто пустил здесь корни, чего на самом деле, конечно, нет. Прежде всего, хотя я вообще об этом особенно не размышляю, я побаиваюсь своего учреждения, так надолго я еще оттуда не отлучался, если не считать Цюрау, но там было иначе, а еще немного держит меня старый обер-инспектор — я перед ним в таком чудовищном, в таком неоплатном долгу, что этот долг может лишь расти, в другую сторону он измениться не может. Я привык решать вопросы таким образом, что позволяю им меня пожрать, возможно, тут я делаю то же самое.

Я тебя даже не поблагодарил за вырезки, во всем чувствуется удача, уверенность, они легко водят твоей рукой. Насколько мрачнее работы Оскара, уязвленные, часто тягостные, им особенно не хватает какого-то общественного чувства, но вообще он тоже это умеет, негнибемый человек. Феликс меня забыл, «Зельбствер» он мне уже с некоторых пор не посылает, и даже здешний врач, д-р Леопольд Штрелигер, которого я рекомендовал ему как нового подписчика, еще не получил номеров. Некоторое время назад я прочел «Литературу»[102] Крауса. Знаешь ли ты ее? По тогдашнему впечатлению, которое с тех пор, конечно, уже сильно ослабло, она мне показалась необычайно точной, не в бровь, а в глаз. В этом маленьком мире немецко-еврейской литературы царит действительно он или представляемое им начало, которому он так восхитительно подчинен, что сам даже пугает себя с этим началом и позволяет пугать другим. Думаю, я довольно хорошо различаю, что в этой книге лишь остроумие, впрочем великолепное, затем, что можно считать прискорбным убожеством и, наконец, что есть истина, хотя бы настолько, насколько истинна моя пишущая рука, такая же отчетливая и пугающе телесная. Остроумие главным образом жаргонное, так пользоваться еврейским жаргоном, как Краус, не умеет никто, хотя в этом немецко-еврейском мире вряд ли кто владеет чем-то, кроме жаргона, если говорить о жаргоне в самом широком смысле, а именно как о громком, или молчаливом, или даже мучительном для самого себя присвоении чужой собственности, которую ты не получил по наследству, а лишь ухватил (более или менее) мимоходом и которая остается чужой собственностью, даже когда нельзя указать ни на малейшую ошибку в языке, ибо здесь на все указывает лишь тишайший голос совести в покаянные часы. Я не хочу этим ничего сказать против жаргона, сам по себе жаргон даже красив, это органическое соединение канцелярско-немецкого с языком жестов (как это пластично: «На что такое ему талант?», или это, с разведенными руками и вскинутым подбородком: «Вы только подумайте!», или это, со скрещенными ногами: «Он пишет. О ком?») и результат нежного чувства языка, когда понимаешь, что в немецком языке действительно живыми являются лишь диалекты, а кроме них, лишь глубоко личный литературный язык, тогда как все остальное, языковая середина, не что иное, как прах, которому придается видимость жизни, лишь когда живые еврейские руки копаются в нем. Это факт, забавный или ужасный, как угодно; но почему евреев так неумолимо тянет туда? Немецкая литература жила и до того, как евреи освободились, и жила великолепно, прежде всего, насколько я вижу, в среднем она никогда не была менее разнообразной, чем сейчас, может быть, сейчас она даже потеряла в разнообразии. И Краус особенно хорошо понял связь того и другого с еврейством как таковым, или, точнее, с отношением молодых евреев к своему еврейству, с ужасным внутренним состоянием этого поколения, или, вернее сказать, на его примере это стало очевидно. Он нечто вроде дедушки из оперетты, от которого отличается лишь тем, что вместо того, чтобы сказать «ого», еще и сочиняет скучные стихи. (Впрочем, не без оснований, с тем же основанием, с каким Шопенгауэр вел тягостно-веселую жизнь, все время сознавая, что проваливается в ад.)

Больше, чем психоанализ, мне в данном случае нравится сознание, что этот отцовский комплекс, которым кое-кто духовно питается, относится не к невинному отцу, а к еврейству отца. Уйти от еврейства, по большей части при неявном согласии отца (эта неявность была возмутительна), хотело большинство начавших писать по-немецки, они этого хотели, но задними лапками прилипли к еврейству отца, а передними не могли нащупать никакой новой опоры. Отчаяние, порожденное этим, служило для них вдохновением.

Вдохновение это не менее почетное, чем любое другое, но при ближайшем рассмотрении все-таки с некоторыми печальными особенностями. Первоначально их отчаяние находило возможность разрядки не в немецкой литературе, как это может показаться на первый взгляд. Они жили между тремя невозможностями (которые я лишь случайно называю языковыми невозможностями, так называть их проще всего, но можно их назвать и совсем иначе): невозможность не писать, невозможность писать по-немецки, невозможность писать по-другому, сюда едва ли не стоит добавить четвертую невозможность, невозможность писать (ибо отчаяние не было чем-то, что



можно успокоить творчеством, оно было врагом жизни и творчества, творчество было чем-то временным, как для того, кто пишет свое завещание перед тем, как повеситься, — это временность, которая может длиться целую жизнь), то есть это была со всех сторон невозможная литература, цыганская литература, которая похитила из колыбели немецкое дитя и в величайшей спешке кое-как приспособила, потому что кому-то надо плясать на канате. (Но это даже не было немецкое дитя, это было ничто, можно было просто сказать, что танцует[103] кто-то)...

(Запись обрывается.)

[Почтовая карточка, Шпиндельмюле, штемпель получения 8.II.1922]

Дражайший Макс,

жаль, жаль, что ты не можешь приехать на пару дней, мы бы, если бы повезло, целый день лазали по горам, катались на санях (на лыжах тоже? Пока я сделал пять шагов) и писали бы и, особенно благодаря последнему, накликали бы, ускорили бы конец, ожидающий конец, мирный конец, или ты этого не хочешь? Я чувствую себя как в гимназии, учитель ходит туда-сюда, весь класс справился с классной работой и уже разошелся по домам, один я еще стараюсь, исправляя ошибку в своей работе по математике, и заставляю доброго учителя ждать. Конечно, это мстит за себя, как все прегрешения против учителей.

Пока что я провел хорошо пять ночей, а шестую и седьмую уже плохо, мое инкогнито раскрыто.

Твой

[Две открытки. Плана над Лужници, штемпель получения 26.VI.1922]

Дорогой Макс,

я хорошо устроился[104], правда, Оттла для этого невероятно пожертвовала своими удобствами, но и без этих жертв здесь было бы хорошо, «во всяком случае, до сих пор было» (поскольку «обещать» тут нельзя) спокойнее, чем в каком-либо другом месте летнего отдыха до сих пор, «во всяком случае и т. д.». Сначала, в дороге, я немного боялся загородной жизни. В городе ничего не надо видеть, так говорит Блюер? Только в городе и есть что смотреть, потому что все, проплывавшее за вагонным окном, было кладбище или могло им быть, сплошь вещи, которые вырастают над трупом, город по сравнению с этим гораздо сильнее и живее. Но здесь уже второй день действительно хорошо; странно общаться с деревней, шум тут как тут, но не с первого дня, а лишь со второго, я приехал скорым поездом, должно быть товарным. Когда после обеда мне мешают спать, я провожу время в мыслях о том, как ты пишешь «Франци» возле новостройки. Успехов тебе в работе, пусть поток течет... В бюро я нашел пролежавшее полтора месяца очень дружеское, устыдившее меня письмо. Мое самоосуждение двоякого рода, во-первых, оно искренне, и в этом смысле я был бы счастлив, если бы можно было забрать ужасные маленькие рассказы[105] из письменного стола Вольфа и стереть их из его памяти, его письмо я не могу прочесть, а во-вторых, самоосуждение — это неизбежность и прием, что, например, не позволяет Вольфу в нем участвовать, и не из лицемерия, в котором он по отношению ко мне не нуждается, а в силу приема. Также я удивляюсь тому, что Шрайбер, например (чье самоосуждение тоже двоякого рода, оно искренне, но непременно это и прием), потерпел неудачу не с искренностью (искренность не приносит успеха, она лишь разрушает разрушенное), а с приемом. Может, потому, что ему помешала настоящая нужда, которая не позволяет так методично плести паутину.

Что тут теоретизировать! Есть вещи, о которых позволительно рассуждать лишь ревизору, чтобы под конец сказать: «Чего я тут наговорил!»

Твой

[Плана, штемпель получения 30.VI.1922]

Дорогой Макс,

непросто извлечь из твоего письма корень мрачного настроения; подробностей, которые ты сообщаем, недостаточно. Прежде всего: новелла живет, разве это не достаточное доказательство, что жив и ты? (Нет, для этого недостаточно.) Но разве этого недостаточно, чтобы этим жить? Для этого достаточно, достаточно, чтоб жить радостно и чувствовать себя на коне. А остальное? Э. пишет нерегулярно, но если ничто не движется, если содержание безупречно? Письмо Розенхайма — дипломатическая ошибка издательства «Драймаскен», не так ли? Значит, и исправлять ее следует дипломатически. Пугающие известия? Ты имеешь в виду что-то, кроме убийства Ратенау? Удивительно, как долго ему еще дали жить, слухи о его убийстве распространялись в Праге уже два месяца назад, об этом говорил проф. Мюнцер, слухи были очень достоверными, они так связаны с еврейской и немецкой судьбой и точно описаны в твоей книге. Но что тут много говорить, это дело далеко выходит за рамки моего кругозора, даже кругозор, открывающийся из моего окна, слишком для меня велик.

Политические новости доходят до меня — если мне досадным образом не присылают другую газету, которую я проглатываю, — лишь в серьезной, отличной подаче «Прагер абендблатт». Читая эту газету, получаешь такую же информацию о положении в мире, как когда-то о военном положении через «Нойе фрайе прессе». Судя по этой газете, мир сейчас такой же мирный, как мирной была когда-то война, она отводит от человека любые заботы, прежде чем они его коснутся. Лишь теперь мне стала понятна действительная роль твоих статей в этой газете. Если предположить, что тебя читают, не приходится желать для тебя лучшего окружения, ничто с этих страниц не мешает и не впутывается в твои слова, вокруг тебя полная тишина. Прекрасный способ общения с тобой — читать статьи здесь. Я читаю их тоже под настроение, «Сметана» и «Стриндберг» кажутся мне приглушенными, но «Философия»[106] — ясная и хорошая. Кстати, проблематика «Философии» кажется мне явно еврейской проблематикой, возникшей из-за неразберихи, когда местные жители, вопреки очевидности, оказываются кому-то слишком чужды, евреи, вопреки очевидности, кому-то слишком близки и потому ни о тех, ни о других нельзя говорить уравновешенно. И с какой остротой чувствуешь эту проблему в деревне, где здороваются и вовсе с чужими людьми, но не со всеми и

где, как ни старайся, никак не превзойдешь запоздалым ответным приветом почтенного старика, который проходит мимо тебя с топором на плече по деревенской улице.

Здесь было бы хорошо, если бы было спокойно, пара спокойных часов случается, но вообще этого недостаточно. Отнюдь не хижина для сочинительства. Однако Оттла удивительно заботлива (она передает тебе привет, твой привет очень утешил ее в печали из-за неудавшегося пирога). Сегодня, например, несчастливый день, работник весь день колет для хозяйки дрова. То, что у него непостижимым образом выдерживают и руки и мозг, не могут выдержать мои уши, даже с затычками (сами по себе они неплохи; когда их вставляешь в уши, слышишь, правда, почти так же, как раньше, но постепенно возникает в голове легкая оглушенность и какое-то слабое чувство защищенности — не так уж много). А тут еще дети шумят и так далее. К тому же сегодня мне на пару дней придется сменить комнату, прежняя была очень хорошая, большая, светлая, с двумя окнами, с просторным видом, и в ее совершенно бедной, но не гостиничной обстановке было что-то, что называют «святой прозаичностью».

В один из таких шумных дней (мне теперь предстоит их несколько, несколько наверняка, а может, и больше) я ощутил себя как будто изгнанным из мира, не на шаг, как обычно, а на сто тысяч шагов... Письмо Кайзера[107] (я ему не ответил, слишком мелко писать по поводу безнадежной, не-немецкой публикации), конечно, обрадовало меня (как любят облизывать такие вещи нужда и тщеславие!), но тут отчасти подействовал мой метод, да и рассказ сносный, я говорю о рассказе, посланном Вольфу, который, без сомнения, человек непредвзятый... Привет тебе и обеим женщинам. А также Феликсу, с которым я, к сожалению, не смог попрощаться.

Твой

(Примечание на полях:)

Говорят, здесь живет госпожа Прейсова[108]. У меня очень большое желание как-нибудь поговорить с ней, но столь же велики страх и неловкость перед такой затеей. Может, она очень высокомерная, может, не терпит так же, когда ей мешают, как я. Нет, не буду с ней говорить.

Что ты ответишь Кайзеру? Гауптман ведь близок тебе, не отказывайся писать о нем.

[Плана, штемпель 5.VII.1922]

Дорогой Макс,

после бессонной ночи, первой в Плане, я мало на что способен, но твое письмо могу понять, наверное, даже лучше, чем обычно, лучше, чем ты, но я, наверное, преувеличиваю и понимаю его слишком хорошо, ибо случай отличается от моего тем, что он хотя и не реален, но ближе к реальности, чем мой. Со мной произошло вот что: я должен был, как ты знаешь, поехать в Георгенталь, я ничего против этого не имел; когда я однажды сказал, что там будет слишком много писателей, это было, возможно, предчувствие, а не серьезное возражение, скорее кокетство, близость любого писателя меня восхищает (поэтому я стремился к Прейсовой, хотя твоя жена мне не советовала), я восхищаюсь вообще любым человеком, но писателем особенно, тем более писателем, которого я до этого лично не знал, мне трудно себе представить, как он так удобно устроился в этом ветреном и страшном царстве и как он ведет там такое упорядоченное хозяйство; большинство писателей, с которыми я знаком, были со мной, по крайней мере лично, любезными, в том числе, например, и Виндер[109]. А побыть втроем мне при моих обстоятельствах было бы даже особенно приятно, меня бы это даже не касалось, я мог бы держаться в сторонке и был бы все-таки не один, чего я боялся. И Оскар, которого я люблю и который добр ко мне, был бы мне поддержкой. И я снова увидел бы новый кусок мира, впервые за восемь лет снова в Германии. И дешево бы, и здорово. И хотя здесь у Оттлы хорошо, особенно сейчас, потому что я опять вернулся в свою старую комнату, но как раз к концу месяца и на следующий месяц приезжают гости, родственники шурина, станет снова тесновато, мне было бы очень хорошо уехать, и я ведь мог бы вернуться, ведь Оттла остается до конца сентября. То есть все безупречно и с точки зрения разумности, и с точки зрения чувств; поездку следовало бы рекомендовать безусловно. И вот вчера я получил от Оскара доброе подробное письмо, для меня нашли красивую тихую комнату с балконом, шезлонгом, хорошим питанием, видом на сад за 150 м. в день, остается лишь согласиться, больше того, я заранее согласился, ведь я же сказал, что если найдут что-нибудь подобное, то я согласен.

И что же теперь происходит? Если для начала сказать в самом общем виде, у меня страх перед путешествием, я почувствовал это, уже когда в последние дни радовался, что от Оскара нет письма. Но это страх не перед самим путешествием, я ведь уже ехал сюда два часа, а там надо двенадцать, и сама поездка мне скучна, но безразлична. Это не тот страх дороги, который был, как я недавно читал, у Мысльбека[110], который собрался поехать в Италию, но у Бенешау[111] повернул обратно. Это не страх перед Георгенталем, к которому я, если бы все же туда добрался, наверняка привык бы сразу же, в тот же вечер. Это также не слабование, когда решение принимаешь лишь после того, как рассудок все до мелочи рассчитает, что чаще всего невозможно. Здесь пограничный случай, когда рассудок действительно может все рассчитать и каждый раз приходит к выводу, что мне надо ехать. Скорее это боязнь перемены, страх привлечь к себе внимание богов таким слишком крупным для моих обстоятельств деянием.

Сегодня, бессонной ночью, перебирая все это вновь и вновь между болезненными погружениями в сон, я опять осознал то, что в последнее довольно спокойное время почти позабыл: на какой слабой или вовсе не существующей почве я живу, из какой тьмы поднимается, когда захочет, темная сила, чтобы, не обращая внимания на мой лепет, разрушить мою жизнь. Творчество поддерживает меня, но не вернее ли сказать, что оно поддерживает этот образ жизни? Я, разумеется, отнюдь не хочу сказать, что лучше живу, когда не пишу. Скорее, тогда моя жизнь гораздо хуже, она становится совершенно невыносимой и грозит кончиться безумием. Но все это, конечно, лишь при условии, что я, как это и есть в действительности, являюсь писателем, даже когда не пишу, а непишущий писатель, кстати говоря, нонсенс, накликающий безумие. Но что такое само это творчество? Творчество — это сладкая, чудесная награда, но за что? Этой ночью мне стало ясно, как ребенку, которому все показали наглядно, что это награда за служение дьяволу. Это нисхождение к темным силам, это высвобождение духов, в естественном состоянии связанных, сомнительные объятия и все прочее, что оседает вниз и чего уже не знаешь наверху, когда при солнечном свете пишешь свои истории. Может быть, существует иное творчество, я знаю только это; ночью, когда страх не дает мне спать, я знаю только это. И дьявольское в нем видится мне очень ясно. Это тщеславие и жажда наслаждений, которые постоянно кружат вокруг тебя или кого-то другого — чем дальше, тем движение все разнообразней, возникает

солнечная система тщеславия, — кружат и наслаждаются этим. Чего порой желает наивный человек: «Хотел бы я умереть и посмотреть, как меня будут оплакивать», то постоянно осуществляет такой писатель, он умирает (или не живет) и постоянно себя оплакивает. Отсюда ужасающий страх смерти, который не должен проявляться как страх смерти, а может принимать вид страха перед переменами, страха перед Георгенталем. Причины для страха смерти можно разделить на две основные группы. Во-первых, он страшно боится умереть, потому что он еще не жил. Под этим я не имею в виду, что для жизни нужны жена и ребенок, надел и скот. Для жизни нужно лишь отказаться от самоуслаждения; надо войти в дом, вместо того чтобы восхищаться им и украшать венками. В ответ можно возразить, что это судьба и ни от кого не зависит. Но почему тогда потом испытываешь раскаяние, почему раскаяние не прекращается? Чтобы сделать себя притягательнее? И это тоже. Но почему в такие ночи всегда остается за рамками ключевое слово: я мог бы жить, а не живу. Вторая главная причина — возможно, это та же самая, сейчас они у меня не хотят разделяться — это мысль: «То, что казалось мне игрой, оказалось действительностью. Творчеством я не откупился. Всю жизнь я умирал, а теперь умру на самом деле. Моя жизнь была слаще, чем у других, тем страшнее будет моя смерть. Писатель во мне, конечно, умрет сразу, ведь у такой персоны нет никакой почвы, нет никакого состояния, пусть хотя бы состоящего из праха; есть лишь небольшой шанс в безумнейшей земной жизни, есть лишь конструкция жадности наслаждений. Это и есть писатель. Но сам я не могу жить дальше, потому что я ведь и не жил, я остался глиной, я не превратил искру в пламя, а использовал ее лишь для иллюминации собственного трупа». Это будет особенное погребение, писатель, то есть нечто несуществующее, предаёт старый труп, давно уже труп, могиле. Я в достаточной степени писатель, чтобы в полном самозабвении — не бодрствование есть первое условие писательского творчества, а самозабвение — наслаждаться всеми чувствами или, что то же самое, желать рассказать о них, но этого уже не будет. Однако почему я говорю лишь о реальном умирании? В жизни ведь то же самое. Я сижу сейчас в удобной позе писателя, готовый ко всему прекрасному, и должен безучастно наблюдать — ведь что еще я могу делать, кроме как писать, — как дьявол щиплет, бьет, почти размалывает мое подлинное «я», бедное, беззащитное (существо писателя — это аргумент против души, ведь душа, видимо, просто покинула настоящее «я», чтобы стать всего лишь писателем, не больше; так ли уж сильно ослабит душу такое отделение от «я»?), по любому поводу, вроде маленькой поездки в Георгенталь <...>{7} (не решаюсь это оставить, так тоже неправильно). На каком основании я, не имеющий дома, должен бояться, что дом внезапно рухнет; ведь я же знаю, что произойдет до всякого краха, если я не выйду из дома, оставив его на волю злых сил?

Вчера я написал Оскару и хотя упомянул о своем страхе, но приезд подтвердил, письмо еще не отправлено, между тем наступила ночь. Наверное, еще ночь я подожду; если не выдержу, я должен все-таки отказаться. Таким образом, решено, что больше я из Богемии не выезжаю, вначале я ограничусь Прагой, потом своей комнатой, а потом своей кроватью, потом определенным положением тела, потом и вовсе ничем. Может быть, потом я добровольно — тут нужна добровольность и радость — смогу отказаться и от счастья писать.

Чтобы литературно заострить всю эту историю — заостряю не я, это делает сама тема, — должен добавить, что в моем страхе перед поездкой играет роль также мысль о необходимости по крайней мере на несколько дней оторваться от письменного стола. И эта смешная мысль на самом деле единственно оправданна, ибо существование писателя действительно зависит от письменного стола, он, собственно говоря, если хочет избежать безумия, вообще не вправе удаляться от письменного стола, он должен вцепиться в него зубами.

Вот определение писателя, такого писателя, и объяснение его воздействия, если таковое действительно существует: он козел отпущения для человечества, он позволяет людям невинно, почти невинно, наслаждаться грехом.

Позавчера я случайно оказался на вокзале (должен был уезжать мой зять, но не уехал), случайно здесь остановился венский скорый, потому что надо было переждать, пока проедет скорый в Прагу, случайно в нем оказалась твоя жена, приятный сюрприз, мы несколько минут поговорили, она рассказала, что ты кончил рассказ.

Если я поеду в Георгенталь, я пробуду десять дней в Праге, буду, счастливый, лежать на твоём канapé и ты мне будешь читать. А если не поеду...

Я протелеграфировал Оскару отбой, иначе не получается, иначе никак не справиться с возбуждением. Уже вчерашнее первое письмо к нему показалось мне очень знакомым, так я обычно писал Ф.

[Плана, штемпель 12.VII.1922]

Дражайший Макс,

обычно я мечусь по кругу или окаменело сижу, как это делает отчаявшийся зверь в своей норе, всюду враги, около одной комнаты дети, около другой тоже, я уже собрался уйти, это все-таки дает покой, хотя бы на один миг, и вот могу тебе написать. Не думай, что в Плана совершенно или почти совершенно замечательно и что главным образом поэтому я здесь остаюсь. Хотя сам быт — с точки зрения домашнего покоя — устроен почти изобретательно, нужно только этим пользоваться, и заботливейшая Оттла тоже вовсю старается, ни они, ни ребенок, ни служанка не мешают мне ни малейшим шумом, ни днем ни ночью, хотя мы живем через стенку, но вчера, например, после обеда дети играли у меня под окном, прямо подо мной ужасная компания, дальше, слева, еще одна, на вид благовоспитанная, милая, но шумят обе одинаково, гонят меня, отчаявшегося, с постели, с болью в висках, через ноля и леса, почти не оставляя надежды, как ночные совы. А когда я мирно и с новой надеждой ложусь вечером, меня в половине четвертого будят, и я не могу заснуть снова. На ближайшей станции, которая вообще-то не очень мешает, все время грузят бревна, при этом постоянно стучат, правда мягко и с перерывами, но сегодня утром, я не знаю, не будет ли теперь так всегда, они начали уже совсем рано, и среди тихого утра для мечтающего о сне мозга это звучало совсем по-другому, нежели днем. Было очень худо. А потом я утром неизвестно почему встаю с таким состоянием головы. Правда, при всем при том мне крупно повезло. Несколько дней назад сюда прибыли сотни две школьников из Праги. Адский шум, бич человечества. Я не могу понять, как люди, живущие в той части поселка — а это самая большая и фешенебельная его часть, — не сойдут с ума и не убегут из своих домов в леса, причем им пришлось бы бежать довольно далеко, ибо вся опушка этих красивых лесов зачумлена. Меня, в общем, в этот пока еще не затронуло; но каждый миг можно ждать сюрпризов, вроде тех мелких, что уже есть, и я то и дело посматриваю из окна пылливо и выжидательно, точно бедный грешник, каковым и являюсь. Я перестал воспринимать даже хороший шум, и скоро мне станет непонятно, что и в театры собираются отчасти, скажем так, лишь из-за шума. Надеюсь, что хотя бы критические статьи, особенно хорошие, какие пишешь теперь ты и которые особенно хорошо читать здесь, я буду понимать всегда. Если не знать ничего, кроме того, что печатается, можно вообразить себе человека, который откуда-то возникает

вечером, после спокойно проведенной ночи и рабочего дня, и один, полный внутреннею веселья, счастья, в самом лучшем состоянии глаз и ушей, бродит по театрам, причем неизменно строго связанный с тайной, постоянно дарующей жизнь. Прекрасное исследование об Ирасеке или даже просто такая удачная мелочь, как о «Поттзахе и Перльмуттере»[112] (в тот вечер было все в порядке?). Или об арене, хотя здесь мне немного мешают маленький абзац о скамейках, и не случайно, а принципиально. Я не знаю, в чем мы здесь немного расходимся. Может, мне здесь недостает какой-то пронципальности или критичности?

То, что ты говоришь о моем случае, верно, внешне это выглядит так, это утешает, но может привести и в отчаяние, ибо показывает, что страхи никуда не прорываются и все остается во мне. Этот мрак, который положено видеть лишь мне, и то не всегда, уже на другой день после этого дня я ничего не вижу. Но я знаю, что он никуда не делся и ждет меня, если... Ну, если я не разберусь сам с собой. Как прекрасно и как правильно ты все объясняешь, и, если таким образом ты приглашаешь меня в Берлин, я, конечно, поеду и мог бы даже поехать с Баумом, если бы мы вместе выехали из Праги. Надо принять во внимание и мою физическую слабость, как это делает Оттла, и отвратительное чувство валютного путешественника, который едет только потому, что это дешево, и не лишенный оснований страх перед беспокойством — причин много и в то же время всего одна, — одна, которую я ребенком как будто увидел величиной с булавку и про которую я теперь знаю, что только она и существует.

А насчет творчества? (Я, впрочем, пишу кое-как, не более, и все время мешает шум.) Возможно, мое объяснение к тебе не относится, и оно возникло лишь потому, что я хочу как можно больше сблизить твоё творчество с моим. Отличие, конечно, существует, оно состоит в том, что я, даже если бывал когда-либо счастлив помимо творчества и всего, с ним связанного (не знаю наверняка, бывал ли), как раз тогда не способен был писать, из-за чего все, едва тронувшись, тотчас опрокидывалось, ибо страсть писать всегда брала верх, из чего вовсе не следует, что я настоящий, прирожденный, почтенный писатель. Я ушел далеко от дома и должен все время писать домой, хотя сам дом давно унесло куда-то в вечность. Все это писательство есть не что иное, как флаг Робинзона на самой высокой точке острова.

Чтобы еще немного облегчить себя жалобами: сегодня с половины четвертого — снова погрузочные платформы, стук, грохот бревен, крики грузчиков, вчера в 8 утра с этим совсем было покончили, но сегодня поезд привез новый груз, так что, по всей видимости, это будет продолжаться до полудня, который до сих пор всегда бывал прекрасным. Чтобы заполнить паузу, как раз сейчас шагах в ста от меня запустили конный ворот, обычно он стоит или его обслуживают разумные лошади, которых не нужно понукать, но сегодня в него запрягли волон, а им каждый шаг нужно объяснять всякими «хотт» и «хьо» и «sakramenska rakaz!»{8}. Чего еще ждать от этой жизни?

Вилла на Ванзее, Макс! И мне, пожалуйста, тихую мансарду (подальше от музыкальной компаты), из которой бы уже не хотелось тронуться; будет даже незаметно, что я там.

А пока что вновь и снова — лишь эти страдания; за что? Это не придумано, но, когда сам это испытываешь, все совпадает и утешения бессильны. Но как может быть, что ты страдаешь и одновременно грезишь о Лебедином пруде[113]. (Это волшебно, я сейчас снова перечитал — скольжение поверх всей меланхолии — точка, расположившаяся на канаве, — старый русский замок — танцовщица — погружение в озеро — все...) В эти последние дни надо опять основательно поправиться («Юхху!» — кричит в этот момент мальчик у меня под окном, грохочут цепи на станции, только волам дали передышку, утро обещает быть суровым, дело в том, что сейчас прохладно, обычно солнце защищает меня от детей. Сегодня у меня нашлись бы силы поехать в Георгенталь.) Да, таких физических страданий, как на этот раз, у тебя еще не было, хоть ты это и отрицаешь. Этих физических страданий я не могу простить Э., даже если она в них не виновата: не могу хотя бы по тем причинам, на которые указал ты.

Я тоже получил жалобное письмо от Феликса. Думаю, ему помочь было бы легче, чем нам всем, но никто ему не помогает.

Получил ли ты мою открытку? Можешь ли ты оставить рассказ еще в Праге? Написал ли ты о Гауптмане? Всего доброго, пусть все наладится!

Ф.

(Приписка:) Знаешь ли ты что-нибудь о Клопштоке? Он с некоторых пор перестал мне писать; это можно объяснить моими неудовлетворительными ответами.

Как прошло (на взгляд своего человека) родительское собрание? Как говорила моя сестра? Есть ли ученики на будущий год?[114] Только что Оттла сообщила мне, что она (не по моему почину, я тут совершенно не показывал виду, а внизу, с кухни, детей во дворе почти не слышно) отослала детей и что они — группа воспитанных — согласились уйти. Остаются погрузочная платформа, и невыспавшаяся голова, и сравнительно поздний час, потерянный день, благодаря Оттле ставший более сносным... Нет, ушли как раз невоспитанные, неуправляемые, ведь тетя этих детей — хозяйка дома. Ты спрашиваешь про лес, лес прекрасен, там можно найти покой, но это не «хижина для сочинителя». Пройти вечером через лес (вообще довольно разнообразный), когда птицы поют не так громко (будь я Малером, мне, наверное, мешали бы птицы), лишь робко чирикают там-сям (можно подумать, что их испугал я, но их пугает вечер), и посидеть на знакомой скамье на опушке, откуда открывается просторный вид (но здесь все чаще царствуют ужасные голоса пражских детей), — это все замечательно, но лишь если до этого была спокойная ночь и спокойный день.

[Плана, штампель 20.VII.1922]

Дражайший Макс,

вчера до обеда у меня не оказалось времени, чтобы прийти к тебе, а нужно было уже уходить, неупорядоченной жизни более чем хватает (а для упорядоченной жизни Плана, вообще говоря, подходит меньше, чем Прага, но лишь из-за шума, я должен это все время повторять, чтобы меня не опровергли «наверху»), иначе я, наверное, остался бы, если бы видел, что хоть как-то нужен отцу. Но вчера это было не так. Его расположение ко мне уменьшалось день ото дня (нет, на второй день оно было больше, а потом все уменьшалось), и вчера он не знал, как меня поскорее выжить из комнаты, заставляя мать присутствовать. Для матери, впрочем, теперь начинается пора особых, новых, изнурительных страданий, даже если все пойдет дальше так же прекрасно, как до сих пор. Потому что, если отец до сих пор под влиянием страшных воспоминаний все еще считал за благо лежать в постели, сейчас это лежание становится для него мучительным (у

него на спине рубцы, которые давно сделали для него долгое лежание почти невозможным, к тому же тяжелому телу трудно поворачиваться, беспокойное сердце, большая перевязка, боли при кашле, но главное — беспокойное, неспособное себе помочь, омраченное состояние духа), мучения эти, мне кажется, превосходят все предшествующие, теперь они дают себя знать, даже когда общее состояние улучшается, вчера он сделал вслед выходящей из комнаты и, по-моему, замечательной сестре движение, которое на его языке могло означать лишь: «Скотина!» И в таком положении, весь обнаженный ужас которого понятен, наверное, только мне, он пробудет в лучшем случае еще десять дней, и то, чему суждено обрушиться на мать, обрушится на нее в полной мере. Какие десять дежурств днем и ночью предстоят ей теперь!

Вот так у меня не оказалось времени зайти к тебе, но я бы, наверное, не зашел, даже если бы у меня и было время, слишком мне было бы стыдно в случае, если ты уже прочел мою тетрадь [115], — тетрадь, которую я рискнул дать тебе после твоей новеллы, хотя знаю, что такие вещи можно писать, но не читать. После этой новеллы, такой совершенной, такой чистой, такой стройной, такой юной, — жертва, дым которой угоден небесам. Лишь потому, что она мне так дорога, я прошу тебя еще раз просмотреть начало, не с самых первых страниц, а там, где рассказывается о семье профессора, и до конца. Начало сбивает с толку, особенно если не знаешь целого, как бы ищешь приятных для отдыха, но вредящих целому попутных находок, которые для целого действительно оказываются совершенно ненужными, но там, в самом начале, слегка поблескивают. Конец, однако, затянут, в то время как читатель, все еще набирающийся дыхания, в некоторой растерянности теряет из-за этого ориентацию. Я не хочу тем самым сказать, как эта новелла вписывается в мои представления о «писателе», ничуть об этом не забочусь и счастлив, что новелла существует. Но хорошую пищу для таких мыслей дал мне прочитанный вчера в дороге рекламский томик «Шторм. Воспоминания». Визит к Мёрике. Эти два добрых немца мирно сидят в Штутгарте, беседуют о немецкой литературе, Мёрике читает «Путешествие Моцарта в Прагу» (Хартлауб, друг Мёрике, уже хорошо знавший новеллу, следил за чтением с почтительным восторгом, который он явно не мог сдержать. Когда наступила пауза, он воскликнул, обращаясь ко мне: «Ну скажите, как это выдержать!» Это 1855-й, оба уже немалые, Хартлауб — пастор), а потом заходит разговор о Гейне. О Гейне в этих воспоминаниях уже сказано, что для Шторма врата немецкой литературы распахиваются двумя волшебными книгами, гётевским «Фаустом» и «Книгой песен» Гейне. Для Мёрике Гейне тоже значил много, ведь среди немногих особенно дорогих для него автографов, которые хранил Мёрике и которые показывал Шторму, есть правленое стихотворение Гейне. Тем не менее Мёрике говорит о Гейне — и хотя тут лишь повторено ходовое мнение, эти слова, по крайней мере с одной стороны, ослепительным и все еще таинственным образом обобщают то, что я сам думаю о писателе, а то, что я думаю, в каком-то другом смысле тоже ходовое мнение. «Он, несомненно, поэт, — сказал Мёрике, — но жить с ним я не мог бы и четверти часа, так лживо все его существо». Сюда бы комментарий из Талмуда!

Твой

(Приписка:) Ты сказал, что бедствовал из-за материала для «Абендблатт». Я знал кое-что, что могли бы хорошо оплатить: писать для скульптора Билека. Об этом в другой раз. Знаешь ли ты памятник Гусу в Колине? На меня он произвел необычайно сильное впечатление, а на тебя?

[Плана, конец июля 1922]

Дражайший Макс,

уже вечер, четверть десятого, довольно поздно, чтобы писать, но дня часто не хватает, отчасти потому, что из него можно использовать лишь паузы, которые оставляют дети, отчасти из-за собственной слабости и расхлябанности. Оттла говорит по этому поводу, что мне надо остаться на второй срок.

Но это пустяки. А вот как тебя допекло. Какая огромная, ничем не позволяющая себя сбить, не успокоенная даже новеллой фантазия работает против тебя. Я, впрочем, не совсем понимаю, чего хочет «семейный совет», которого ты тоже не признаешь. Отношение к тебе Э. для семьи не новость, три сестры и зять все-таки победили, хотели они того или нет, так что остается лишь отец и, пожалуй, брат, издали это, впрочем, выглядит, насколько я могу понять из твоих рассказов, лишь мелкой, не особенно успешной интригой лейпцигской сестры, которая в этом смысле представляется мне очень активной.

Письмо женщины из Берлина я бы охотно прочел, теперь ты видишь, она ведь ответила. Опять так же словоохотно, доверчиво и с приглашением писать дальше, как прежде? «Действительно порядочный человек» — это, с одной стороны, как можно догадываться, цитата из новеллы, с другой стороны, приглашение действительно считать себя таковым; есть что-то от желания помучить себя, не говоря, конечно, о понятном страхе. Ты уже поднял его на такую высоту — выше, чем горцев в новелле, больше не надо.

Не могу понять, получил ли ты мое последнее письмо. Ты даже не упоминаешь о новелле — большое спасибо за газету с фрагментом из нее, а также за «Парафразы», мне захотелось, хотя я сейчас точно не представляю себе, как бы это сделал, написать комментарий к новелле... Не Мёрике — недавно я листал у Андре в одной истории литературы последнего времени [116], издательство Дидерихс (Отто фон дер Лейен или кто-то в этом роде), умеренная немецкая позиция, высокомерный тон в ней, видимо, надо отнести за счет личности автора, но не его позиции.

Утро, без четверти восемь, дети ([вписано: ] которых Оттла потом все-таки прогнала) уже тут, после на редкость хорошего дня, вчерашнего, они уже поспешили сюда, пока их лишь двое и одна детская коляска, но этого достаточно. Они мой «семейный совет»; когда я, даже не подходя к окну, убеждаюсь, что это они, мне кажется, будто я поднимаю камень и вижу под ним само собой разумеющееся, то, чего я ожидал и боялся: мокрых и всяких ночных тварей; или скорее не так, не дети — ночные существа, это они, играя в свои игры, подняли камень с моей головы и «удостоили» меня взглянуть туда. Как вообще не они и не семейный совет самое худшее, и то и другое — в одной упряжке бытия; беда, в которой они неповинны и из-за которой они достойны скорее любви, чем страха, — это то, что они последняя станция бытия. За ними начинается — как бы нам ни казался страшным их шум или радостной тишина — хаос, о котором возвещал Отелло. Здесь мы с другой стороны подходим к проблеме писателя. Возможно, я этого не знаю, писать начинает человек, овладевший хаосом; тогда возникают святые книги; возможно, он любит, тогда возникает любовь, а не страх перед хаосом. Лизхен — это ошибка, хотя и всего лишь терминологическая: поэт начинается только в упорядоченном мире. Не означает ли чтение «Анны», которую я, кстати, читаю уже давно и с радостью, что ты все-таки что-то написал о Гауптмане?... А теперь тебе надо читать и «Пасху», наверное, во

время поездки?

Что до истории литературы, у меня было всего несколько минут, чтобы ее полистать, было бы интересно прочесть ее внимательнее, она выглядит музыкальным сопровождением к «Сецессии Иудаика», и удивительно, как в течение одной минуты эта книга помогает читателю, впрочем уже благосклонному, стройно все упорядочить, включая массу полужнакомых, наверняка достойных писательских имен, которые возникают в главе «Наша страна», расположенных в соответствии с ландшафтами, — немецкое достояние, недоступное еврейскому пониманию, и пусть Вассерман каждый день будет вставать в четыре утра, пусть он всю свою жизнь пашет нюрнбергскую землю от края до края, она ничего ему не ответит, за ответ ему придется принять красивые нащептывания из воздуха В книге нет именного указателя, наверное, поэтому я встретил лишь однажды упоминание о тебе без враждебности: кажется, это было сравнение романа Лёна с «Тихо», «Тихо» со всем уважением был назван подозрительно диалектическим. Меня даже похвалили, хотя лишь наполовину, как Франца Кафку (наверное, Фридрих Коффка), который как будто бы написал хорошую драму.

Ты не упоминаешь и про Билека, я бы хотел отдать его в твои руки. Я давно думаю о нем с большим восхищением. Последний раз мне, признаться, напомнило о нем очередное упоминание в статье «Трибуны», посвященной другим темам (автор, кажется, Халупны). Если бы можно было покончить с этим позором, с умышленно-бессмысленным обеднением Праги и Богемии, когда заурядные работы вроде «Гуса» Шалоуна или ничтожные вроде «Палацки» Сухарда выставляются на почетном месте, а совершенно несравнимые с ними наброски Билека к памятнику Жижке или Коменскому остаются неизвестными, это было бы замечательно, и правительственная газета была бы для этого самым подходящим местом. Я, конечно, не знаю, для еврейских ли рук это дело, но твоим я доверяю все. Твои замечания о романе устыжают меня и радуют, примерно как я радую и устыжаю Веру, когда она, как это довольно часто случается, сделав нетвердый шаг, нечаянно садится на свой маленький задик, а я говорю: «Je ta Vera ale sikovna»{9}. Она-то, несомненно, знает, поскольку чувствует задом, что села неловко, но мое восклицание так действует на нее, что она начинает счастливо смеяться, убежденная, что именно так делается кунштюк настоящего усаживания.

Напротив, сообщение господина Вельча[117] мало что доказывает, он а priori убежден, что собственного сына можно только хвалить и любить. Но в таком случае — с чего бы здесь загореться глазам. Сын, неспособный жениться, продолжить фамилию; в 39 лет уже на пенсии; занят лишь своими эксцентрическими писаниями, от которых хорошо или плохо только ему; неспособный к любви; чуждый вере, даже молитвы о спасении души от него не дождешься; с больными легкими, к тому же заполучил свою болезнь, как совершенно справедливо считает отец, когда, впервые покинув на время детскую комнату и будучи неспособным к самостоятельной жизни, нашел себе нездоровую комнату у Шенборна. О таком ли сыне можно мечтать.

Ф.

Что делает Феликс? Мне он больше не отвечал.

[Плана, штампель получения 31.VII.1922]

Дражайший Макс, наскоро еще один привет перед отъездом (пока еще позволяют внизу хозяйка, племянник и племянница — хозяйкины, я имею в виду). По порядку, как ты писал:

Билек: если ты действительно хочешь попытаться сделать то, о чем я осмеливался говорить лишь как о фантастическом желании, на большее сил не хватало, это меня радует чрезвычайно. Это, по-моему, была бы борьба того же уровня, что борьба за Яначека, насколько я способен понять (чуть было не написал: борьба за Дрейфуса), причем предметом борьбы в таких случаях являются не Билек, Яначек или Дрейфус (потому что у него, возможно и наверное, дела сносные, в той статье писалось, что у него есть работа, выставлена уже седьмая копия статуэтки «Слепой», и неизвестным его назвать уже нельзя, в той же статье — которая вообще посвящена была отношению государства к искусству — он был даже назван «velikan»{10}, борьба не должна идти за что-то необычное, это снизило бы ее уровень), а само искусство скульптуры и современное состояние человека. При этом я, конечно, все время думаю лишь о колинском Гусе (не столько о статуе в галерее Современного искусства или о памятнике на Вышеградском кладбище, а куда больше о расплывшейся в памяти массе не очень доступных мелких работ в деревне и о его графике, которые видел раньше), когда выходишь из переулка и видишь перед собой большую площадь с маленькими домами вокруг, а посередине Гуса, в любое время, в снег и летом, все вместе образует восхитительное, непостижимое и потому как будто произвольное, в каждый новый момент заново формируемое этой могучей рукой, включающее в себя и самого зрителя единство. Примерно такое же впечатление производит овеванный дыханием времени дом Гёте в Веймаре, но за творца, создавшего все, требуется тяжелая борьба, и дверь его дома все время закрыта.

Было бы очень интересно узнать, почему убрали памятник Гусу; мне вспоминается рассказ моей умершей кузины, что еще до его установки все городские деятели были против, и многие оставались против еще потом, похоже, и до сих пор.

Новелла: жаль, что я не могу познакомиться с окончательным вариантом.

Лизхен понять, конечно, гораздо легче, чем М. Что бывают такие девушки, мы учили в школе, но мы, конечно, не учили, что их можно любить и тогда они становятся непонятными.

Феликс: волшебника-психиатра трудно себе представить, но Ф., конечно, достоин даже самого невероятно-прекрасного... Почему он не может взять «Еврея», это было бы очень хорошо, а если нет, очень печально. Конечно, в данный момент это меньше, чем «Самооборона», но все же достаточно много, чтобы могло хватить (я исхожу из того, что «Еврей», если его мог редактировать Хеппенхайм, может редактироваться и из Праги), а должность была бы представительская и потребовала бы от него гораздо меньше работы, чем «Самооборона». Конечно, прекрасная «Самооборона» оказалась бы в опасности, это было заметно уже в промежуточное правление Эпштейна, которое осталось в памяти лишь вещами вроде «Вперед выходит русский халуц»[118], «Самообороной» нельзя заниматься между прочим, она требует такой самоотдачи, как у Феликса... Что до меня, то я, увы, могу помыслить о вакансии в «Еврее» для себя лишь в шутку или в полудремотных мечтаниях. Как я могу претендовать на что-то подобное при своей бескрайней невежественности, полном отсутствии связей с людьми, не чувствуя под собой прочной еврейской основы? Нет, нет.

Гауптман: Статья в «Абендблатт» необычайно хороша, и я был очень рад статье в «Рундшау»[119]. Я только не знаю, что, кроме безотчетного права любви, могло побудить тебя поставить в связь (в своем пересказе) Йоринду[120] и Анну. Йоринда совсем другое, она понятнее и одновременно таинственнее Анны. Анна действовала однозначно, побудительные причины загадочны, но сам случай очевиден. Самая большая ее тайна — это суд над собой и наказание, тайна, которая делает ее для меня в какой-то мере понятнее, чем Йоринду, не в силу моих способностей, а в силу моих требований. Йоринда, напротив, не сделала ничего дурного, а если бы сделала, она бы по-своему признала это так же, как Анна, но, поскольку ей не в чем признаваться, она не может признаться, причем по ее характеру — это, наверное, можно сказать и об Анне до случившегося — кажется невозможным, чтобы она с убежденностью сказала о себе: «Я совершила несправедливость». В этом, видимо, заключена ее загадка, которой, однако, в какой-то мере не дано развернуться потому, что она ведь не сделала ничего дурного. Таким образом, чуть ли не приходишь к выводу, что по-настоящему загадочен лишь ее возлюбленный, который преувеличивает свою слабость — а ее нельзя отрицать, — и состоит она в том, что он не может разорвать отношений с механиком, и это не мгновенная слабость, а начало большей слабости, потому что, даже если он сумеет разорвать эту связь, он расчистит место для новой, которая будет точно так же мешать ему и разрастаться, пока весь мир не померкнет. Ему почти так же, как механику, мешает невинность Йоринды, а невинность означает здесь недоступность. Он, как ты, впрочем, и сказал, буквально охотится за чем-то, чем Йоринда не обладает, она лишь как бы играет здесь роль запертой двери, и, когда он ее трясет, ей это тоже причиняет сильную боль, ведь он хочет чего-то, что заперто за нею и о чем она сама совершенно не знает и не могла бы узнать ни от кого, в том числе и от него, как бы ни старалась и ни размышляла.

Я, наверное, напишу тебе в Мисдрой, но Э. нет, это была бы комедия, и она бы сама отнеслась к этому так же. Зато если я буду тебе писать, то напишу так, чтобы ты мог показывать мое письмо, и это будет отнюдь не комедия. Впрочем, почта в Германию идет сейчас очень медленно.

Будь здоров!

Ф.

(Приписка:) Случай с Билеком более примечателен, чем с Яначеком, во-первых, тогда еще была Австрия, все богемское придавливалось, а во-вторых, Яначек действительно был, по крайней мере в Богемии, совершенно неизвестен. Билек же очень известен, его очень ценят, и сотни тысяч смотрят, как он вечером гуляет среди десятка деревьев в запыленном саду своей виллы.

[Плана, начало августа 1922]

Дражайший Макс,

я уже почти 4 дня в Праге, и здесь опять вернулось ко мне относительное спокойствие. Такое соотношение — несколько дней в городе, несколько дней за городом — было бы для меня, наверное, самым подходящим. Конечно, четыре летних дня в городе — это уже слишком много, дальше было бы, например, трудно устоять против полуобнаженных женщин, в сущности, только летом видишь в таком обилии их удивительную плоть. Это легкая, насыщенная влагой, нежно отекающая, лишь несколько дней сохраняющая свежесть плоть; на самом деле она держится долго, но это лишь доказывает краткость человеческой жизни; какой короткой должна быть жизнь человека, если такая плоть, к которой боязно притронуться, до того она непрочная, лишь краткое мгновение держатся ее округлости (которые, впрочем, как обнаружил Гулливер — но я обычно не могу в это поверить, — обезображены потом, жиром, порами и волосками), какой короткой должна быть жизнь человека, если такая плоть существует большую часть жизни. Здесь за городом женщины совсем другие, тут, правда, много и дачников, например необычайно красивая, необычайно толстая белокурая женщина, которая, как мужчина, одергивает свою жилетку, каждые несколько шагов должна поправлять свой туалет, чтобы привести в порядок живот и груди, одета она как красивый мухомор, а благоухает — люди не знают меры, — как лучший съедобный гриб (я с ней, конечно, не знаком, я здесь почти ни с кем не знаком), ну, дачников и не замечаешь, они либо смешны, либо безразличны, а больше всего восхищают меня местные женщины. Они никогда не ходят полуобнаженными, и, хотя у них не больше одного ребенка, они всегда вполне одеты. Толстеют они лишь в позднем возрасте, пышной же здесь можно назвать лишь одну молодую девушку (она скотница в каком-то полуразвалившемся хозяйстве, мимо которого я часто прохожу вечером, тогда она обычно стоит у дверей хлева и буквально борется со своими грудями), а вообще женщины сухощавы той сухощавостью, в которую, наверное, можно влюбиться только издалека, такие женщины не кажутся опасными и все-таки роскошны. Эту особую сухощавость создают ветер, погода, работа; заботы и роды, но это все же не городское убожество, а спокойная и достойная веселость. Здесь живет одна семья, и дело даже не в том, что фамилия у них Веселы; женщине 32 года, и у нее семь детей, из них пять мальчиков, отец работает на мельнице, чаще всего ночью. Я глубоко уважаю эту супружескую пару. Он, по словам Оттлы, напоминает палестинского крестьянина — ну, может быть — среднего роста, немного бледный, впечатление бледности, впрочем, создается из-за густых черных усов (такие усы, как ты однажды писал, поглощают энергию), тихий, с замедленными движениями, если бы не его спокойствие, его можно было бы назвать робким. Женщина, одна из таких вот сухощавых, всегда то ли молодая, то ли старая, голубоглазая, веселая, при смехе лицо собирается в складки, непонятно, каким образом тащит эту кучу детей (один мальчик посещает реальную гимназию в Таборе), и, конечно, непрерывно страдает, однажды в разговоре с ней я почти представил себя женатым, ведь и мне дети под окном доставляют мучение, но и тут она меня предостерегает. Конечно, это трудно, отцу часто приходится спать днем, тогда дети должны уходить из дома и им почти не остается другого места, кроме как у меня под окном: кусок поросшей травой улицы и кусок обнесенного оградой луга с парой деревьев, который муж купил для своих коз. Однажды утром он пробовал там спать, он лежал сперва на спине, руки под голову. Я сидел за столом и все время смотрел на него, не мог от него оторваться, не мог заняться ничем другим. Нам обоим нужна была тишина, это нас объединяло, но только это. Если бы я мог пожертвовать для него своей долей тишины, я бы это сделал. Впрочем, тишина была неполная, другие дети, не его, шумели, он поворачивался, пытался заснуть, уткнув лицо в ладони, но ничего не получалось, тогда он встал и пошел домой.

Но я замечаю, Макс, что стал рассказывать тебе истории, которые тебе не могут быть интересны, и рассказываю их лишь для того, чтобы вообще что-то рассказывать и чувствовать какую-то связь с тобой, поскольку я вернулся из Праги в настроении весьма печальном и безрадостном. Сначала я вообще думал тебе не писать, возможно, когда ты жил в городе с его шумом и неблагополучием, эти письма и были уместны, но вторгаться теперь в приморскую тишину мне не хотелось, в этой мысли меня утвердила и открытка, которую ты напоследок послал из Праги. Сейчас же, когда я вернулся из Праги, слегка огорченный страданиями отца (возможно, дальше

облегчает, он уже неделю как ежедневно гуляет, но боли, плохое самочувствие, страх продолжают), огорченный из-за удивительно храброй, очень сильной духом, но все более разрушающей себя своими заботами матери, огорченный еще и некоторыми другими, гораздо менее важными, но почти столь же угнетающими вещами; и потому что сам я близок к саморазрушению, я подумал и о тебе, сегодня я видел тебя во сне, много раз, но запомнилось, лишь как ты выглядываешь из окна, ужасно худой, лицо — совершенный треугольник; так вот, по всем этим причинам (к тому же «противоестественная» жизнь последних дней выбила меня из равновесия, и я вдруг увидел, как дорога, если считать, что она до сих пор была, обрывается прямо у меня под ногами) я все же тебе пишу, при всех внешних оговорках и внутренних препятствиях. Судя по тому, как ты провел последнее время в Праге, все время в ожидании писем из Лейпцига (и страдая от полученного письма порой сильнее, чем до сих пор), ты выглядишь примерно так, как в моем сне, даже если ты во время отпуска немного отдохнул — чего я от души тебе желаю. Могло ведь случиться, что теперь ты не страдаешь постоянно из-за писем, а наслаждаешься счастьем живого общения. Я с удовольствием передал бы привет фройляйн С., но не могу, я знаю ее все меньше. Я знаю ее по твоим рассказам как чудесную подругу. Я знаю ее далее как непонятную, но никогда не слышащую упреков богиню новеллы, но знаю ее, наконец, и как твою корреспондентку, которая старается тебя разрушить и притом отрицает, что желает этого. Тут слишком много противоречивого, за этим не видно человека, я не знаю, кто рядом с тобой, и я не могу передавать ей привет. А ты будь здоров и здоровым возвращайся.

Ф.

[Плана, штгемпель 16.VIII.1922]

Дорогой Макс,

я буду говорить и о том, что, как мне кажется, я понимаю лучше тебя, и о том, чего я не понимаю. Возможно, при этом выяснится, что я вообще ничего не понимаю, это вполне может быть, ибо тема объемна и велика и сужу я слишком издали, к тому же добавляется забота о тебе, у которого дела, может быть, еще хуже, чем ты признаешься, и обо всем этом я могу составить себе лишь туманное представление.

Прежде всего и главным образом я не понимаю, почему ты так превозносишь достоинства В., как будто (возможности продолжать спокойно больше нет, погода испортилась, явился мой зять, немного заброшенный всеми, и сидит за моим столом — моим ли? — это ведь его стол, и то, что прекрасная комната предоставлена мне и что семья из трех человек спит вместе в моей маленькой комнате — не считая, впрочем, большой кухни, — это непостижимое благоденствие, особенно если вспомнить, как в первые дни, когда комнаты распределялись иначе, мой зять радостно потягивался утром в своей кровати и говорил, что самое прекрасное в этой дачной жизни — возможность, проснувшись, прямо из кровати наслаждаться таким прекрасным видом, лесом вдали и т. д., а уже спустя несколько дней он спал в маленькой комнате с видом на соседский двор и печной трубой, я упоминаю все это, чтобы... нет, трудно сказать зачем) — но возвращаюсь к твоим делам. Как бы там ни было, у В. вовсе нет никаких преимуществ, но весы, по крайней мере в данный момент, уравновешены настолько тщательно, насколько это необходимо, чтобы ужасно мучить вас всех. У В. нет никаких преимуществ, он не может жениться, не может помочь, он не может сделать Э. матерью, или, если бы он мог, он бы уже это сделал и гораздо сильнее использовал бы это как довод против тебя. Так что речь не идет о благородстве с той стороны и неблагородстве с этой. Он любит Э., и ты любишь ее; кто здесь возьмется что-то решать, если даже Э. сделать этого не может. На его стороне внешность и привлекательность молодости, тем более что женщина старше его, это очень важно, особенно потому, что еврейство не столько отягощает тебя, сколько высвечивает его. Но тебе, несомненно, дано что-то более и более долговечное, ты можешь любить, как мужчину, помогать, как мужчину, можешь, как художник, непростанно одарять то мечтой, то реальностью искусства. Что же в таком случае приводит тебя в отчаяние? Очевидно, не мысль об исходе борьбы, а сама борьба и ее эпизоды. Тут ты, конечно, прав; я бы этого не сумел, я бы не мог вынести даже малейшего намека на все это, но ведь ты выдержишь много такого, от чего бы я бежал или что бежало бы от меня. Тут я, возможно, склонен тебя переоценивать, я не представляю даже малой доли того, на что ты способен.

Далее, во-вторых, Э. жлет, и жлет безбожно, это говорит скорее о ее бедственном состоянии, чем о ее лживости. И похоже, что жлет она задним числом, например утверждает, будто не говорит ему «ты», что на самом деле так, но тотчас вслед за этим действительно переходит на «ты», однако отчасти придерживается сказанного раньше и не берет обратно своих слов. Надо сказать, я этого не ожидал и до сих пор этого не понимаю, кстати, и того, как ты можешь говорить о самоуничижении, тогда как, по сути, это означает, что выстроенное ею здание рушится, и просьбу к тебе, как к мужчине и помощнику, как-нибудь это поправить. Она же просто бежит к тебе, во всяком случае, когда ты с ней, письмо, написанное ею вопреки твоим просьбам, если я правильно понимаю, написано все же очень, очень по-твоему, так же как вымученная, но все-таки подлинная открытка ко мне.

Если отбросить в сторону все отягощающие побочные обстоятельства, которых, впрочем, более чем достаточно, основная схема представляется мне такой: ты хочешь невозможного, потому что желание твое не утихает, и тут не было бы ничего особенного, этого хотят многие, но ты прорываешься дальше многих, кого я знаю, оказываешься близко у цели, всего лишь близко, но не у самой цели, потому что это ведь невозможно, но от этой «близости» ты страдаешь и должен страдать. Существуют разные степени невозможного, граф фон Гляйхен[121] тоже пытался сделать невозможное — удалось ли это, не ответят, наверное, даже могилы, — но там не было такой невозможности, как у тебя, он не оставил ее в стране Востока и сочетался с ней браком через Средиземное море. Но и это было бы возможно, если бы он со своей первой женой оказался связан вопреки желанию, так что то, что для нее было бы тоской, или пустотой, или потребностью в убежище, или чертовой кошкой, у него, отчаявшегося из-за первого брака, становилось бы благодарностью и утешением, но тут другое дело, ты не отчаялся, и твоя жена даже облегчает тебе тяжесть жизни. Так что, если ты хочешь уберечь себя от саморазрушения (меня ужасает мысль, что ты должен был писать и домой), тебе не остается ничего другого, как попытаться сделать ужасное (но по сравнению с тем, что ты испытал в последние годы, лишь внешне ужасное) и действительно взять Э. с собой в Прагу или, если это по разным причинам было бы мучительно, взять в Берлин свою жену, то есть переселиться в Берлин и открыто, по крайней мере открыто для вас троих, жить втроем. Тогда отпадет почти все прежнее зло (но может возникнуть и новое неизвестное зло): страх перед В., страх перед будущим (который сейчас останется, даже если ты справишься с В.), забота о твоей жене, страх из-за потомков, и даже материально твоя жизнь станет легче (ибо содержать Э. в Берлине стоило бы теперь в десять раз дороже). Только я потерял бы тебя в Праге. Но если у тебя нашлось бы место для двух женщин, почему не нашлось бы где-нибудь места и для меня.

А пока я был бы очень рад увидеть тебя уже благополучно вернувшимся после этого ужасного отдыха.



(Приписка:) Твоя жена — может, не так уж тяжело было бы сделать и ее сторонницей такого плана. Я сейчас говорю в Праге с Феликсом, который считает, что она не может ничего не знать (то есть что она относительно спокойно терпит). Мне вспомнилось также письмо Шторма, которое она однажды с симпатией мне показала.

[Плана, дата получения 11.IX.1922]

Дорогой Макс,

не говори, что если я не поехал в Германию, то это потому, что мною руководит «правильный инстинкт». Здесь было что-то другое. Теперь я уже около недели снова здесь, эту неделю я провел не особенно весело (потому что историю о замке пришлось отложить, по-видимому, навсегда, после катастрофы, начавшейся за неделю до поездки в Прагу, она не желала снова складываться, хотя написанное в Плана не так плохо, как то, что тебе известно), не особенно весело, но очень спокойно, я едва ли не растолстел, потому что мне вообще спокойнее всего, когда я бываю с Оттлой один, без зятя и гостей. Вчера после полудня, опять вполне спокойного, я прохожу мимо хозяйской кухни, и у нас заходит небольшой разговор, хозяйка (сложное явление), до сих пор державшаяся с формальной любезностью, но холодная, злая, коварная по отношению к нам, в последние дни стала к нам совершенно необъяснимо открытой, сердечной, дружелюбной, и вот мы заводим небольшой разговор: о собаке, о погоде, о том, как я выгляжу («Jak jste přišel, mel iste smrtelnou bagvu»{11}), дернуло же меня за язык просто ради щегольства сказать, что мне здесь очень нравится, что я вообще с удовольствием бы здесь остался и что лишь необходимость питаться в гостинице удерживает меня от этого; ее предположение, что здесь можно затосковать, я отклонил как смехотворное, и тут происходит нечто совершенно непредвиденное, если иметь в виду наши прежние отношения (а ведь она женщина богатая): она заявляет, что готова кормить меня, сколько я пожелаю, заранее оговаривает детали, ужин и т. д. Я, весьма обрадованный, благодарю за предложение, все решено; я, уже убежденный, что останусь здесь на всю зиму, еще раз благодарю и ухожу. Но тут же, когда я еще поднимаюсь по лестнице в свою комнату, происходит «катастрофа», уже четвертая здесь, в Плана. (Первая была в день, когда шумели дети, вторая, когда пришло письмо от Оскара, третья — когда речь шла о том, что Оттла уже 1 сентября должна переселиться в Прагу, а я останусь еще на месяц и буду питаться в гостинице.) Что бывает с человеком в таком состоянии, описывать нет надобности, ты это сам знаешь, но знакомое тебе по опыту тут надо возвести в степень, когда лишь задним числом осознаешь, как все это на тебя обрушилось. Прежде всего я осознаю, что уже не смогу спать, из сердца выест эту способность, я ведь уже сейчас не сплю, как если бы уже не спал последнюю ночь. Потом я выхожу из дома, не способный ни о чем другом думать, меня доминает один лишь этот ужасный страх, а в моменты просветления еще и страх перед этим страхом. На перекрестке я случайно встречаю Оттлу, причем в том же самом месте, где я встретил ее с моим ответным письмом Оскару. На этот раз все происходит немного лучше, чем тогда. Ведь теперь очень важно, что скажет Оттла. Если она хоть намеком одобрит план, тогда я безнадежно потерян по крайней мере на несколько дней. Ибо, что касается меня лично, мне совершенно нечего возразить против этого плана, он скорее отвечает великому моему желанию: одиночество, покой, хороший уход, недорого, можно провести осень и зиму в этой местности, которая мне так нравится. Какой может быть довод против? Никакого, кроме страха, а это не довод. Так что, если Оттла не найдет возражений, я вынужден буду выдержать сам с собой эту борьбу, борьбу на уничтожение, и в конце концов наверняка не останусь. Но, к счастью, Оттла сразу начинает разговор с того, что оставаться я не могу, воздух слишком сырой, туман и пр. Тем самым напряжение разрядилось, и я могу сделать признание. Хотя некоторое затруднение еще остается — в связи с тем, что предложение уже принято, — по мнению Оттлы, это неважно, но мне эта трудность представляется чудовищной, ведь и вся история приобретает чудовищные размеры. Пока я, во всяком случае, немного успокаиваюсь, то есть успокаивается рассудок, насколько он во всем этом участвует, сам же я не успокаиваюсь, слишком много высвободилось такого, что теперь живет своей собственной жизнью, и его уже не успокоишь одним словом, для этого надо, чтоб прошло какое-то время. Потом я иду один в лес, как делаю каждый вечер; время, когда в лесу темнеет, я люблю больше всего; но на этот раз я ощущаю лишь страх; он держится весь вечер, и ночью я не могу спать. Лишь утром, в саду при свете солнца он немного рассеивается, когда Оттле до меня удастся поговорить о деле с хозяйкой, я тоже успеваю немного вмешаться в разговор, и, к моему великому удивлению (понять это я не в силах), проблема, способная поколебать мир, решается в результате беглого обмена несколькими фразами. Я чувствую себя Гулливером, присутствующим при беседе великанш. Похоже даже, что хозяйка приняла это предложение не слишком всерьез. А у меня весь день глаза впалые.

Что же теперь? Насколько я могу понять, только одно. Ты говоришь, мне надо попробовать себя в чем-то большем. Это в каком-то смысле правильно, но, с другой стороны, дело не в масштабе, я мог бы попробовать что-то и в своей мышинной норе. А это сулит одно: страх перед полным одиночеством. Останься я здесь один, я был бы совершенно одинок. Я не способен говорить здесь с людьми, а если бы заговорил, это лишь усугубило бы одиночество. И я примерно уже представляю, как страшно одиночество, не столько одиночество без людей, сколько одиночество среди людей, как, скажем, первое время в Матлиари или несколько дней в Шпидлермюле, но об этом я не хочу говорить. И что значит одиночество? В сущности, одиночество — моя единственная цель, мой самый большой соблазн, моя возможность, и если вообще можно говорить о том, что я способен «выстраивать» свою жизнь, то всегда лишь с учетом предполагаемого в ней одиночества. И несмотря на это — страх перед тем, что я так люблю. Гораздо понятнее страх оттого, как сохранить одиночество, он не менее силен и в любой момент наготове («катастрофа», когда кричат дети, когда пришло письмо от Оскара), понятнее даже страх перед извилистым средним путем, а этот страх еще самый слабый из трех. Между этими двумя страхами меня и перемальвает — третий лишь помогает, — и в конце концов какой-нибудь великан мельник за моей спиной чертыхнется, что после всех трудов не получается ничего съедобного. Во всяком случае, жизнь, которую вел мой крещеный дядя, меня бы ужаснула, хотя я и шел по тому же пути, но это не было для меня целью, впрочем, и для него тоже не было, разве что под конец, когда начался распад. Характерно, кстати, что мне так хорошо бывает в пустых квартирах, но все же не совсем пустых, а в таких, когда все в них еще напоминает о живших здесь прежде и они готовятся к новой жизни, квартирах с обставленными супружескими спальнями, детскими комнатами, кухнями, жилыми помещениями, куда по утрам приносят почту, бросают газеты. Лишь бы только настоящий их обитатель никогда не явился, как это недавно со мной случилось, тогда я совсем выбит из колеи. Ну вот тебе и история «катастрофы».

Добрые известия от тебя меня радуют, позавчера, когда пришло письмо, я еще не способен был радоваться, Сегодня понемногу начинаю. В Берлин я сейчас еще не еду. Оттла, можно сказать, из-за меня осталась здесь еще на месяц, как же мне теперь уехать? (Почему ты едешь 30 октября?) Я тоже хочу поспеть к премьере, а дважды ехать кажется мне непомерной роскошью. Что касается Э., она ведь меня ненавидит, и я почти боюсь встречи с ней, что же касается тебя, то мое влияние, если о нем вообще можно говорить, неявным образом все-таки действует сильнее, чем когда я выступаю открыто.

Тому мне не понравилось в Шпейере[122], ты сказал сам. Школа, первые страницы о Кристине и Бланш необычайно хороши, заkostenелая идея смягчена, однако потом его рука слабеет и соответственно слабеет интерес при чтении. Конечно, там достаточно и вполне достойных мест, но не более того, с другой стороны, позднейший спад дает себя знать уже и в первой половине, скажем, там, где вяло характеризуются соученики, или во вводной главе. Когда некто ноябрьской ночью открывает окно, чтобы сравнить тибетскую тишину с немецкой, ему бы лучше снова его закрыть. Это преувеличения в духе Штрорма.

«Анна» тоже немного меня огорчила, но немного и обрадовала. К тому же я прочел ее почти два раза, один раз для себя и потом еще в шестнадцать приемов для Оттлы. Я чувствую мастерство в построении, в остроумных и живых диалогах, во многих местах, но какой потоп все в целом! И никто из этих людей, кроме Юста, не живет для меня. Я уже не говорю о совершенно смешном, о недостойной комедии, об Эрвине, например, который никогда не жил, никогда не умирал и все время вылезает из своей бутафорской могилы (мы не могли читать о нем без смеха), или о Теа, или о бабушке. Да и почти все прочие тоже, по сравнению с этими неживущими чувствуешь себя живым. Ты любишь не Анну, а Э. и любишь не Анну ради Э., а любишь Э. опять же ради одной только Э., и даже Анна не способна тебе в этом помешать. Больше всего мне нравятся геррнгутеры[123], и вовсе не надо, как ты это представляешь, быть непременно против них: «в их глазах, конечно, был странный блеск, глубокий и добрый».

Счастья тебе в Берлине!

Ф.

[Прага, декабрь 1922]

Дорогой Макс,

так как Верфель должен к тебе прийти, а также чтобы утешиться, думая о тебе, сообщаю главное.

Вчера Верфель с Пиком были у меня, этот визит, который в другое время меня обрадовал бы, на сей раз вверг в отчаяние. В. ведь знал, что я читал «Молчальника»[124], то есть заранее предполагалось, что я должен буду о нем говорить. Если бы это была обычная неудача, ее можно было бы как-нибудь обойти; но для меня эта пьеса значит много, она мне очень близка, задевает меня самым ужасным образом, я даже отдаленно не мог представить себе, что когда-нибудь должен буду что-то сказать об этом Верфелю, когда мне самому даже не до конца понятны причины моего неприятия, потому что у меня по поводу этой пьесы не было даже ни малейшего спора с самим собой, но лишь потребность выбросить ее из головы. Насколько гауптмановская «Анна» меня, можно сказать, оглушила, настолько мучительно эта Анна и крысиный король рядом с ней обострили мой слух; лишь эти слуховые явления и образуют целое. Когда сегодня мне пришлось обобщить причины моего неприятия, получилось примерно следующее: молчальник и Анна (как, разумеется, и все их ближайшее окружение: страшные солонорезчики, профессор, доцент) — это не люди (лишь у более периферийных персонажей — кооператор, социал-демократы — возникает что-то похожее на жизнь). Чтобы это можно было вынести, они сочиняют легенду, объясняющую их адское появление, психиатрическую историю. Но опять же по своей природе они могут сочинить лишь нечто такое же нечеловеческое, как и они сами, и страх удваивается. Но его еще удесятерит мнимое, избегающее всяких косых взглядов простодушие целого.

Что я должен был сказать Верфелю, которым восхищаюсь, впрочем, в данном случае восхищаюсь лишь его способностью перейти вброд эту муть в трех актах. При этом мое отношение к пьесе настолько личное, что, наверное, имеет значение лишь для меня. А он пришел ко мне, очаровательно дружелюбный, раз за столько-то лет, и я должен встречать его такими невыносимыми, невыносимыми суждениями. Но иначе не получалось, я болтал с чувством изрядного отвращения в душе. Но весь вечер и всю ночь страдал, думая об этом. К тому же я, наверное, обидел Пика, которого от возбуждения почти не заметил. (Впрочем, о пьесе я заговорил, когда Пик уже ушел.)

Со здоровьем у меня лучше.

Всего доброго в жизни и на сцене.

Ф.

[Открытка, Шелезен, штемпель 29.VIII.1923]

Дорогой Макс,

рад был бы услышать несколько слов о том, как ты живешь и работаешь. Я читал грустную заметку о возвращении, надеюсь, тут не следует обобщать. О себе сказать нечего, я стараюсь немного поправиться (по приезде сюда я весил 54?, еще никогда не весил так мало), но не очень-то получается, слишком сильно противодействие, что ж, идет борьба. Местность мне нравится, и погода была до сих пор приятная, но я, должно быть, очень нравлюсь враждебной силе, она борется, как дьявол, а может, она и есть дьявол. Будь здоров, привет Феликсу и Оскару.

[Открытка, Шелезен, штемпель 6.IX.1923]

Дорогой Макс,

я не думаю о катастрофе, ты, к сожалению, смотришь на вещи, отчасти как я, но, к счастью, обладаешь и собственной силой суждения. Почему катастрофа? Неужели серьезные человеческие отношения настолько зависят от внешних дел? Если бы Э. теперь, пока не минуют худшие времена, нашла себе место при каком-нибудь ребенке, это было бы, допустим, печально, но не катастрофой же? Выражения, в каких ты говоришь о бешенстве, не соответствуют ни тебе, ни предмету. Глупо с моей стороны говорить о вещах, в которых ты разбираешься лучше, чем я, но я действительно глуп и плохо соображаю, поэтому рад возможности высказать свою уверенность хотя бы вот в чем: ребенок злится, если его карточный домик рухнет оттого, что взрослый пошатнул стол. Но карточный

домик рушится не оттого, что стол пошатнулся, а оттого, что это картонный домик. Настоящий дом не рухнет, даже если стол изрубить на дрова, он вообще не нуждается в постороннем фундаменте. Эти далекие прекрасные вещи сами собой разумеются... Э. я послал две открытки, а в следующую пятницу утром я буду у тебя. Когда ты едешь в Берлин? Сколько стоит поездка? Передавай, пожалуйста, привет Феликсу и Оскару.

[Берлин — Штеглиц, дата получения 25.X.1923]

Дорогой Макс,

это верно, я ничего не пишу, но не потому, что хотел бы что-то скрыть (кроме того, что свойственно моей профессии), и тем более не потому, что мне бы не хотелось часок потолковать с тобой доверительно, такого часа, как мне иногда кажется, у меня не было со времен жизни в Италии на озерах. (Имеет смысл это сказать, потому что нам тогда была дана какая-то подлинная невинность, о которой, возможно, не стоит сожалеть, а злые силы, с хорошими или дурными намерениями, еще только слегка ощупывали вход, уже донельзя радуясь перспективе однажды туда проникнуть.) Словом, если я не пишу, то причина прежде всего, как все больше становится для меня обычным в последние годы, «стратегического» порядка, я не доверяю словам и письмам, и я хотел бы разделить свое сердце с людьми, а не с призраками, которые играют словами и читают письма, высунув язык. Особенно не доверяю я письмам, и странно верить, что достаточно заклеить конверт, чтобы письмо нетронутым дошло до адресата. Этому, впрочем, меня научила почтовая цензура времен войны, когда особая смелость и ироническая откровенность призраков производили поучительное впечатление.

Но я пишу мало еще и потому (забыл добавить кое-что к только что сказанному: мне кажется, что можно иногда вообще объяснить сущность искусства, существование искусства лишь такими «стратегическими соображениями», как возможность подлинного слова от человека к человеку), что я ведь, и это естественно, продолжаю свою пражскую жизнь, свою пражскую «работу», о которой тоже мог сказать лишь очень немного. Ты должен также учесть, что я живу здесь полудеревенской жизнью, как ни жестоко давит на меня или ни пытается воспитывать Берлин. Это тоже изнеживает. Один раз я был с тобой у Йости, один раз у Эмми, один раз у Пуа, один у Вертхайма, один раз — чтобы сфотографироваться, или чтобы занять денег, или чтобы посмотреть квартиру, — этим и ограничились мои вылазки в Берлин за все четыре недели, и почти каждый раз я возвращался подавленный и глубоко благодарный, что живу в Штеглице. Моя «Потсдамская площадь» — это Ратушная площадь в Штеглице, там курсируют два или три трамвая, там небольшое движение, там находятся филиалы «Ульштайна», «Моссе» и «Шерля», и я слизываю яд с первых страниц газет, которые там вывешивают, пока еще могу его переносить, потом вдруг (в передней как раз говорят об уличных боях) в какой-то момент перестаю выносить и тогда покидаю это оживленное место и теряюсь, если еще бывают для этого силы, в тихих осенних аллеях. Моя улица — последняя из более или менее городских, дальше все растворяется в мирных садах и виллах, каждая улица — тихая садовая дорожка для прогулки или может ею быть.

Мой день опять очень короток, правда, я встаю около 9, но много лежу, особенно после обеда, мне это очень нужно. Немного читаю по-еврейски, главным образом роман Бреннера[125], но для меня это очень трудно, тем не менее, каковы бы ни были затруднения, прочитанные до сих пор 30 страниц нельзя назвать достижением, которым можно бы отчитаться после четырех недель.

Вторник. Как роман книга меня, впрочем, не очень радует. Я всегда относился к Бреннеру с почтением, не знаю даже почему, здесь смесь предания и фантазии всегда говорила о его печали. А «печаль в Палестине»?..

Поговорим лучше о берлинской печали, поскольку она ближе. Как раз сейчас меня прерывал телефон, Эмми. Она должна была приехать еще в воскресенье, к сожалению, не приехала, тем не менее у меня был визит, который мог бы ее развлечь, юный знакомый из Мюрица и молодой берлинский художник, два красивых юноши, прелестных и пленительных, я много ждал от этого для Эмми, которая сейчас глубоко захвачена повседневными и любовными переживаниями. (Кстати, не подумай, что я устраиваю приемы, это было случайно и лишь один раз, я чуждаюсь людей точно так же, как в Праге.) Но она не пришла, была простужена. Вчера мы разговаривали по телефону, она была возбуждена, берлинские переживания (страх перед генеральной забастовкой, трудности с обменом денег, которые вчера возникли именно возле Цоо — и, может быть, только вчера, — сегодня, например, на вокзале Фридрих-штрассе меняли без всякой толкучки), берлинские переживания смешались с пражскими (я мог только сказать: Макс что-то пишет о девятом), а берлинские здесь действительно заразительны, после телефонного разговора я всю ночь не мог от них отделаться. Во всяком случае, она обещала прийти сегодня вечером, и я надеялся, что тем временем наберусь сил, чтобы утешить ее, а теперь вот она звонит, что не может прийти, объясняет причины своих переживаний, хотя, очевидно, существует лишь одна, другие тут лишь для украшения, — это дата твоей поездки. Свадьба не признается как причина, которая может помешать, «пусть он для разнообразия однажды разобьет сердце и другим». Мне кажется, я уже и в Праге при сходных обстоятельствах слышал что-то подобное. Бедный, милый Макс! Счастливо-несчастный! Если ты считаешь себя способным дать мне какой-то совет, которым я смогу воспользоваться при встрече с Э., я это, конечно, сделаю, но сам я в данный момент не знаю, как быть. Я спросил, могу ли прийти к ней завтра, она сказала, что не знает, когда будет дома (все весьма любезно и искренне), утром у нее урок, после обеда она должна быть у подруги, «которая тоже несчастливая» (она мне про нее уже рассказывала), наконец мы договорились завтра опять созвониться. Вот и все, не мало, не много.

Среда. Только что в 9 часов я снова говорил с Э., мне кажется, все уже гораздо лучше, сегодняшний вечерний разговор с тобой по телефону произвел и утешительное действие. Вероятно, сегодня вечером она придет. Новый телефонный разговор, новая перемена. Э. сообщает, что придет уже сегодня днем. Я все время помню о том, как возвышают Э. любовь и музыка, но главное, что она, вполне храбро переносящая прежнюю суровую жизнь, так сильно страдает от нынешней, внешне все-таки гораздо более легкой, несмотря на все берлинские ужасы. Я со своей стороны понимаю это очень хорошо, гораздо лучше, чем она, но я бы ведь не вынес ее прежней жизни.

Что касается других твоих вопросов. О слабом знании еврейского я уже говорил. Кроме того, я собирался сходить в знаменитую садовую школу в Далеме, без малого в четверти часа отсюда, но меня отпугнул один палестинец, сообщив информацию, которой хотел меня подбодрить. Для практических занятий я слишком слаб, для теоретических слишком спокоен, к тому же дни так коротки, и при плохой погоде я ведь не могу выходить, так я и остался.

В Прагу я бы, конечно, поехал, несмотря на все расходы и трудности, уже хотя бы для одного того, чтобы побыть с тобой и наконец хоть разок побыть с Феликсом и Оскаром (в твоём письме к Э. есть одна ужасная фраза об Оскаре, это написано просто под настроение или на самом деле так?), но Оттла мне не советует, да вдобавок еще и мать. Так оно и лучше, я там еще не был гостем, возможно, мне

удастся пробыть здесь так долго, что я стану гостем.

Твой Ф.

Дай мне совет насчет свадьбы твоего брата. Привет от меня сестре и зятю.

До ноября я могу ждать с зимними вещами. В чем заключается твоя работа? Роман стоит?

[Открытка, Берлин — Штеглиц, штемпель 17.XII.1923]

Дражайший Макс,

я долго тебе не писал, были всяческие помехи и всяческая усталость, с которыми сталкиваешься именно на чужбине (в качестве вышедшего на пенсию чиновника) и, что еще трудней, в глухом мире. Нервность, с какой я тогда, в случае с твоей статьей, подтвердил, насколько у меня несчастливая рука, уже, пожалуй, прошла, она прошла, впрочем, уже тогда же, ведь день спустя ты получил, как мне говорила Э., хорошую открытку с просьбой о прощении, и меня это больше не тяготило. Денежные заботы мне теперь очень хорошо понятны; только теперь, пережив и ощутив недоразумения ноябрьского кризиса, который ты тогда растолковал настолько лучше меня, я не понимаю, почему ты считаешь нужным держаться на расстоянии от декабрьского кризиса (ревность, телефонные затруднения), как будто он по существу так уж отличается от кризиса в ноябре, который настолько хорошо разрешился, когда вы были вместе, что это можно было считать образцом для дальнейшего. Во всяком случае, если у тебя есть какие-то поручения и ты не очень опасаясь какой-нибудь глупости с моей стороны, не забывай меня.

Что значит замечание о твоей пьесе? Ее хорошо поставили. Я не читаю газет (потому что они сильно подорожали), отказался даже от воскресной газеты (о новых налогах все равно узнаешь от хозяйки более чем вовремя), поэтому о происходящем в мире знаю куда меньше, чем в Праге. Я бы, например, с удовольствием узнал что-нибудь о «Винценце» Музиля[126], о котором не слышал ничего, кроме названия, которое прочел спустя какое-то время после премьеры по дороге в институт (мой выход в свет) на театральной афише. Но это, наверное, не велика беда. Кстати, ты не вступал в какие-нибудь отношения по поводу твоей пьесы с Фиртелем или Блеем? Они ведь чуть ли не друзья... Оскару я давно написал по поводу его рассказа в «Рундшау», но это дело, так сказать, еще разворачивается.

Привет от Доры, которая прямо-таки в восторге от статьи про Кржичку.

[Берлин-Штеглиц, середина января 1924]

Дорогой Макс,

вначале я не писал, потому что болел (высокая температура, озноб и в качестве осложнения единственный визит врача за 160 крон, Д. потом выторговала половину, во всяком случае, я с тех пор в десять раз больше боюсь заболеть, место второго класса в еврейской больнице стоит 64 кроны в день, и это только за койку и питание, не считая обслуживания и врача), потом я не писал, потому что думал, что ты по пути в Кенигсберг будешь проезжать через Берлин, кстати, тогда и Э. говорила, что в течение трех недель ты должен здесь быть, чтобы присутствовать при ее выступлении, а когда потом и этого не получилось (почему не вышло с Кенигсбергом? Что может не нравиться «Бунтербарт»[127], который мне надо бы уже прочесть, в этом нет ничего плохого, с «Клариссой» вначале тоже было так, конечно, «Кларисса» должна была бы проложить дорогу второй пьесе), итак, когда потом и этого не получилось и твой приезд сюда отодвинулся на такой далекий срок, что можно было бы вздохнуть вместе с Э. — я не знаю, как она держится на сей раз, — я не писал из-за легкой меланхолии, по причине неприятностей с пищеварением и т. п. Но теперь твоя открытка меня пробудила. Конечно, что касается Э., я попытаюсь сделать все, что в моих силах, хотя и враждебность старой, похоже столь же капризной, сколь и упрямой, дамы, которая, видимо, знает толк в интригах, все-таки что-то значит. Мне помогает и в то же время немного мешает то, что я, в сущности, рад видеть Э., занятого театром, который мне более доступен, чем тайны горла, груди, языка, носа и лба, но это обесценивает мои слова, если они вообще имели какую-то цену. Главное препятствие, однако, — мое здоровье, сегодня, например, я заказал телефонный разговор с Э., но не мог перейти в холодную комнату, потому что у меня 37,7 и я лежу в постели. Ничего тут особенного нет, у меня так бывало часто и без последствий, тут могла сыграть свою роль и резкая перемена погоды, завтра, надеюсь, все пройдет, во всяком случае, это сильно ограничивает свободу передвижения, а кроме того, цифры гонорара врачу горят над моей кроватью огненными буквами. Но все-таки, может быть, завтра утром я поеду в институт и смогу побыть у Э., все время вытаскивать ее в такую погоду — она, кажется, немного простужена — тоже нехорошо. А там у меня есть план залучить, если удастся, Э. на чтение Мильдии Пинес, о которой я тебе как-то рассказывал. Она приезжает на несколько дней в Берлин, у нее будет доклад в Графическом кабинете Ноймана (она читает наизусть историю жизни старца из «Братьев Карамазовых»), и, видимо, навестит меня. Возможно, она окажет на Э. хорошее воздействие своим Примером, к тому же Пинес преподает еще и язык, это молодая девушка. Я, конечно, охотно разрешу Э. читать меня вслух, я давно уже искренне просил ее об этом (хотя бы ради того, чтобы впервые за долгое время послушать стихи Гёте), этому мешали до сих пор лишь внешние обстоятельства, в том числе и то, что мы, как бедные неплатежеспособные иностранцы, должны до 1 февраля покинуть свою прекрасную квартиру. Ты прав, вспоминая о «теплой сытой Богемии», но все не так хорошо, тут все же некоторый тупик. Шелезен исключается, Шелезен — это Прага, к тому же я 40 лет жил в тепле и сытости, и результат не располагает к новым попыткам. Шелезен — это было бы слишком мало для меня и, вероятно, для нас, к тому же я не очень привык к «учению», не говоря о том, что это даже и не «учение», а формальная радость без подоплеки, но меня бы ободрила возможность иметь рядом человека понимающего, для меня, наверное, больше значил бы человек, чем дела, в которых он понимает. Как бы там ни было, в Шелезене это было бы невозможно, разве что — твои слова навели меня на эту мысль — в какой-нибудь богемской или моравской деревне; я буду об этом думать. Если бы организм был покрепче, все это можно бы выразить так: слева его поддерживает, скажем, Д., справа, скажем, такой-то человек, еще бы затылок подпереть ему какой-нибудь «корягой», да еще теперь бы укрепить почву у него под ногами, засыпать пропасть перед ним, прогнать стервятников, которые кружатся над его головой, утихомирить бурю над ним — если бы все это оказалось возможно, что ж, тогда бы что-нибудь и получилось. Я думаю уже и о Вене, но выложить на поездку по меньшей мере 1000 крон (я и так выкачиваю деньги из родителей, которые держатся просто восхитительно, а с недавних пор еще и из сестры), к тому же проехать через Прагу и при этом ехать в неизвестность — слишком рискованно. Так что, может быть, самое разумное — задержаться еще немного здесь, тем более что тягостные недостатки Берлина при всем при том оказывают и полезное, воспитательное воздействие. Может, потом мы уедем отсюда

вместе с Э.

Всяческих успехов, особенно с романом, к которому ты, как я слышал, хочешь наконец вернуться.

Твой Ф.

Спасибо за присланные подарки. Мы были немного пристыжены, получив их, содержимое тоже было не особенно соблазнительно, хотя все заслуживает всяческой похвалы. Д. велела испечь большой пирог и отнести его в еврейский сиротский дом, где она в прошлом году была портнихой. Для детей, которые ведут там угнетающе безрадостную жизнь, это должно стать большим праздником. Чтобы больше тебе этим не докучать, я послал несколько адресов моей сестре Элли, по всем ним надо что-то выслать.

Недавно у меня был Кацнельсон с женой. По словам фрау Лизы, ее мать видела тебя на Рождество в Боденбахе; был ли ты там? Нет, сказал я. И тут же Кацнельсон нашелся, как будто ты ему подсказывал: «Наверное, он ехал в Цвиккау». В этот момент он мне показался едва ли не подозрительным.

Дора хорошо знает Георга из Бреслау (он сейчас в Берлине), ей было бы интересно узнать, что ты о нем думаешь. Ты ведь, если не ошибаюсь, с ним знаком, и, если я опять же не ошибаюсь, в его сборнике[128] есть статья о тебе.

Очень хорошо читать, и не один раз, то, что ты пишешь о Верфеле[129], это придает бодрости и силы. Но при чем тут героизм? Скорее наслаждение, нет, все-таки героизм, героическое наслаждение. Если только не считать, что по-настоящему наслаждается червяк в яблоке.

Хорош, хорош «Театр Пойрета»[130]. Даже если говорить только об этих статьях — какой ты писатель! Сколько раз я уже читал статью о Мусоргском (и не научился еще писать имя), почти как ребенок, который держится за косяк у входа в зал и впервые смотрит на большой праздник.

Знаешь ли ты «Испытание огнем» Вайса[131], я держу его уже неделю и прочел полтора раза, это великолепно и еще труднее, чем все прочее, хотя вещь очень личная и явно не желает, чтобы ее крутили и поворачивали. Я его еще даже не поблагодарил, это не единственный подобный груз на моей совести. Чтобы хоть немного его облегчить: ты уже написал о «Нахаре»?

Пожалуйста, всяческие приветы от меня Феликсу и Оскару (о Кайзере я больше не слышал и, видимо, уже не услышу).

Знаешь ли ты что-нибудь о Клопштоке? Не напечатал ли он чего-нибудь в «Абендблатт»?

[Открытка, санаторий «Венский лес», штемпель 9.IV.1924]

Дорогой Макс,

это стоит и, видимо, будет стоить ужасных денег, «Жозефина»[132] могла бы немного помочь, иначе не получается. Предложи ее, пожалуйста, Отто Пику (он может, конечно, напечатать и что-нибудь из «Созерцания», если хочет), если он возьмется, тогда спустя некоторое время пошли это, пожалуйста, в «Шмиде», если не возьмет, пошли сразу же. Что до меня, тут, видимо, гортань. Дора со мной, привет твоей жене, Феликсу и Оскару.

Ф.

(Из приписки Доры Диамант видно, что состояние больного очень серьезное.)

[Кирлинг, вероятно, 20 апреля 1924]

Дражайший Макс,

только что получил твое письмо, которое меня обрадовало необычайно, так долго я не читал от тебя ни слова. Прежде всего извини за почтовый и телеграфный переполох, который тебе пришлось вытерпеть из-за меня. В основном он был ненужным, просто сдали нервы (как я высокопарно говорю, а сегодня уже несколько раз без причины плакал, ночью умер мой сосед), да вдобавок и санаторий в Венском лесу действует угнетающе. Если считаться с фактом, что у меня туберкулез гортани, состояние у меня сносное, пока что я снова могу глотать. Пребывание в больнице было тоже не таким уж плохим, как ты себе, видимо, представляешь, напротив, в каком-то смысле это был подарок. От Верфеля, это относится к твоему письму, я узнал много приятного: меня посетила женщина-врач, его приятельница, которая также говорила с профессором, потом он дал мне еще адрес профессора Тандлера, своего друга, да еще прислал роман[133] (я жутко изголодался по книгам, которые мне интересны) и розы, и, хотя я передал ему просьбу не приезжать (потому что больным здесь отлично, а для посетителей — и в этом смысле для больных тоже — ужасно), он, судя по открытке, хочет приехать еще сегодня, вечером он едет в Венецию. А я с Дорой еду сейчас в Кирлинг.

Еще большое спасибо за все непростые литературные хлопоты, с которыми ты так великолепно справился. Всего доброго тебе и всем твоим.

Ф.

Мой адрес, который, видимо, Дора написала родителям неразборчиво:

Санаторий д-ра Хоффманна

Кирлинг близ Клостернойбурга, Нижняя Австрия.

[Открытка, Кирлинг, штемпель 28.IV.1924]

Дражайший Макс,

как ты добр ко мне и сколь многим я тебе обязан в эти последние недели. О медицинских делах тебе расскажет Оттла. Я очень слаб, но здесь меня хорошо поддерживают. С Тандлером мы пока не связывались, может быть, через него удалось бы получить свободное или более дешевое место в прекрасно расположенном Гримменштайне, но я теперь не могу ездить, а может, там было бы и хуже. Я поблагодарю д-ра Блау[134] за его рекомендательное письмо потом, ничего? Бесплатный экземпляр мне очень кстати, только я его никак не получу, до сих пор я получил номера за четверг и пятницу, больше ничего, в том числе не было и пасхального номера, адрес неразборчив, один раз было написано Кибург, будь так добр, похлопочи, может, мне еще пришлют и пасхальный номер[135]. Обе твои посылки, особенно вторая, доставили мне большую радость, а рекламные книги как будто для меня предназначены. Дело ведь не в том, что я по-настоящему читаю (правда, роман Верфеля я читаю бесконечно медленно, но регулярно), для этого я слишком устал, естественное состояние моих глаз — закрытые, но играть книгами и тетрадами для меня счастье. Прощай, мой добрый милый Макс.

Ф.

[Открытка, Кирлинг, штемпель 20.V.1924]

Дражайший Макс, вот у меня еще и книга, такая великолепная на вид, ярко-желтое и красное с черным, очень привлекательная, а сверх того, бесплатная, очевидно, подарок от фирмы Таубелес[136] — наверное, я был слегка нетрезв (а так как я получаю в день до двух уколов, опьянения накладываются, всегда остается хмельной остаток), если, невинно подстрекаемый Дорой, нагло и прямо попросил тебя «обеспечить» меня книгой. Я бы охотнее принял сильную инъекцию алкоголя во время твоего приезда, которому был так рад и который прошел так грустно, чтобы быть больше похожим на человека. Впрочем, этот день не был каким-то дурным исключением, не думай, он был просто хуже предыдущего, а все, включая температуру, идет таким же образом. (Сейчас Роберт пытается помочь пирамидоном.) Кроме этих и прочих печальных обстоятельств, есть, конечно, и некоторые мелкие радости, но рассказать о них невозможно, или я придержу их до какого-нибудь визита, вроде того, что я так прискорбно испортил.

Прощай, спасибо за все.

Ф.

Привет Феликсу и Оскару.

Макс Брод

О ЛИЧНОСТИ КАФКИ

Quodsi me lyricis vatibus inseres,

Sublime feriam sidera vertice.

(Если ты сопричислишь меня сонму поэтов и пророков,

Я головой тогда, гордо взнесенной, стукнусь о звезды.)

Никто бы не склонил Кафку к тому, чтобы повторить эти слова Горация, обращенные к Меценату. Натолкнувшись в очередной раз на этот стих Горация, я вдруг подумал о решающей разнице двух писателей, и эта разница, даже если отвлечься от ритуальных условностей римлянина, лучше всего характеризует Кафку. Нет, мой друг ни за что на свете не пожелал бы стукаться головой о звезды. Девизом его жизни было: оставаться в тени — быть незаметным. Незаметным было всегда его поведение, почти никогда не повышал он голос, а если оказывался среди незнакомых людей, то чаще всего умолкал вовсе. И только вдвоем с кем-нибудь или втроем он извращался от своей застенчивости — и тогда прямо-таки фонтанировал экспромтами, приоткрывавшими то богатство еще нереализованного воображения, которое носил в себе этот скромник. Никогда больше не приходилось мне наблюдать столь бурное извержение картин и мыслей в самых причудливых переплетениях фантазии. Одна из последних опубликованных его книг — «Свадебные приготовления в деревне» — содержит, словно в подтверждение моих слов, великое множество начатых и не доведенных до конца историй, сюжетов, размышлений. Здесь просто кладезь фантазии, напоминающей о тысяче и одной ночи Востока: столь мощный поток света, как в случае с фрагментами Новалиса, ослепляет и даже пугает, и если сравнить доведенное до конца с тем, что осталось в замыслах, то придется признать, что мы имеем дело только с осколками монументов. «Америка», «Процесс», «Замок», «Превращение», «В штрафной колонии» — все это представляется только случайной добычей, чрезвычайно малой в сравнении с тем, чего лишила нас судьба в виде ранней смерти Кафки. Чтобы оценить все, нужно постоянно иметь в виду и то, что осталось в набросках, не обретя законченных очертаний. И такой титан жил среди нас, как карлик. «Только нищие скромничают», — утверждает Гёте. Но кто близко наблюдал Кафку, мог бы вывернуть этот афоризм наизнанку: «Всякий хвастун — нищий».

Мне хочется теперь снова представить себе облик моего друга. Худощав, высок, слегка сутуловат, глаза карие с серебристым блеском, цвет лица смуглый, черные как смоль волосы ежиком; красивые зубы, обнажающиеся при вежливой улыбке, по большей части, однако, красиво очерченное лицо омрачено выражением тоски и отрешенности; но на нем никогда нет недовольства и раздражения, сама сдержанность; в редкие моменты (в ранние-то годы они случались почаще, особенно до болезни) оно принимало выражение ребячливой смешливой наивности — хотя и с промельками подавляемой едкости, с тягой к розыгрышам, в которых он тут же и раскаивался. Костюм темно-серых или темно-синих тонов, без отделки, гладкий, без претензий на сверхэлегантность, одет был всегда со вкусом, с иголки, выразительная, но всегда в меру жестикуляция узких рук. Никаких испанских беретов, никакой гривы, вообще никакого вывешивания признаков принадлежности к поэтическому цеху — ни шляпы в стиле карбонариев, ни галстука-бабочки а-ля Байрон, как теперь вдруг ему приписывают иные мемуаристы. Совсем простой человек и в то же время во всем изысканный, как принц крови, — таким он предстает передо мной. Наглухо закрыт, и необыкновенной доброты при этом. Он, вечно казнивший себя за холодность и безлюбие (по его

собственным меркам), был на самом деле самым заботливым другом и компаньоном. Я часто вспоминаю о том, с какой трогательностью он стремился хоть чем-то украсить жизнь старой служанки своей семьи фройляйн Вернер, о которой давно все забыли, а он то и дело норовил преподнести ей билет в театр или что-нибудь в этом духе. Когда же сам он ослабевал от болезни, то уговаривал других помочь тем, кто в этом нуждался. Тому немало примеров находится в его «Письмах». Всяческий эгоцентризм бывал ему неприятен. Пока позволяли силы, он всегда старался взять на себя часть боли другого, облегчить его участь, подсказать правильный выход — и делал это всегда благородно, не привлекая к себе внимания. Спутница его жизни Дора Диамант рассказывала мне, как они с ним однажды на прогулке встретили плачущую девочку в берлинском парке в районе Штеглица. Она плакала, потому что потеряла куклу. Кафка принялся утешать ее, но девочка была безутешна. «Но ведь твоя кукла вовсе не потерялась, — сказал он тогда девочке. — Она только уехала, я встретил ее на вокзале и разговоривал с ней. Она сказала, что напишет тебе письмо. Будь завтра здесь в это же время, и я принесу тебе письмо от нее». Тут малышка перестала плакать — а на следующий день Кафка действительно принес ей письмо, в котором кукла писала о своих приключениях. С тех пор началась оживленная переписка, которая продолжалась несколько недель и оборвалась, только когда больной писатель вынужден был поменять место жительства и отправился в путь по последнему в своей жизни маршруту Прага — Вена — Кирлинг. Под конец он, несмотря на всю предостерегающую суету, не забыл передать девочке новую куклу, уверив ее, что эта — та же самая, только чуть изменившая свой облик вследствие многочисленных дорожных пертурбаций. Вся эта доброта и лукавая изобретательность — не напоминает ли она атмосферу «Сокровищницы рейнского домочадца» Гебеля, то есть ту книгу, которую он особенно любил, наряду с «Вандбекским посланником» Клаудиуса и «Кротким законом» Штифтера? Здесь, в этих тихих идиллиях, а вовсе не в сенсационных ужасах Эдгара По, он чувствовал себя как дома — здесь было то направление, в котором он развивался и хотел развиваться. Если бы он остался в живых, то нам еще довелось бы узнать совершенно неожиданные повороты его фантазии. Может быть, он и вовсе прекратил бы писать и вся его творческая страсть нашла бы выход в богоугодной жизни наподобие Альберта Швейцера, великого целителя. Многие, что я слышал из его уст, указывало на это. Однако бесполезно гадать о том, что он всегда так тщательно скрывал. Показательнее всего из того, что о нем рассказывается, представляется мне история об одном его соученике по гимназии, ныне составившем себе имя. Ему, среди прочих, предложили поучаствовать в сборнике воспоминаний о Кафке. И он, прошедший с Кафкой восемь лет за одной партией, откровенно признался, что не может ничего вспомнить о своем товарище — настолько тот был неприметен.

Что в глазах людей незначительно, может многое значить в глазах Бога — и наоборот: что в глазах людей предстает нарастающим комом сенсаций — как, например, посмертная слава Кафки со всем, что ей сопутствует, — то в глазах Господа может не значить ничего ровным счетом. Если мы приступим к книгам Кафки с добротой и смирением, то будем вправе рассчитывать, что и нам достанет чего-либо от той чистоты и сердечности, к которым был устремлен он сам.

Во время наших совместных путешествий мы с ним вели дневник. А поскольку мы с интересом наблюдали не только новые ландшафты и новых знакомых, но и с неиссякаемым интересом — друг друга, то неудивительно, что в моих (неопубликованных) дневниках нашлось немало записей о Кафке и его высказываний. Взаимное наблюдение нередко сопровождается всякого рода колкостями. Здесь я приведу лишь несколько пассажей, и, конечно, они не вполне передают общее настроение этих записок.

От путешествия 1911 года (Цюрих, Лугано, Милан, Париж) сохранились толстые тетради. Дневники Кафки об этом путешествии опубликованы. На первой же странице моего дневника содержится запись о том, что план написать совместный роман об этом путешествии двух друзей возник в голове Кафки. Там значится: «Предложение Кафки сообщать написать о нашем путешествии. Обозначен неточно (им самим)». — И вскоре после этого: «Не пришло ли в голову хотя бы одному патриоту измерить площадь Швейцарии так, чтобы и плоскости гор были исчислены как равнины. Тогда бы величина оказалась больше, чем у Германии». — Далее: «Вообще-то я покидаю курорт в раздражении, но, может, прав Кафка, заметивший, что курорты обнаруживают свою прелесть только после длительного пребывания». — В связи с преизбытком англичан среди путешествующих я делаю запись: «Разговор о Пиквиках». — Во Флюэлене: «Кафка покупает себе драгоценный камень за сорок сантимов». — Кафка: «Когда пишешь слишком много заметок, многое остается незамеченным. Это как со зрением вообще: нужно все время начинать сначала. Но если это крепко себе усвоить, то, может быть, и заметки тогда не помещаются видеть». — «Вернуться к естественности первобытных людей. Устроим себе на каменистом побережье гладкие каменные сиденья из больших камней. Под кустом на скале, свесив ноги в морскую воду. Вростем в ландшафт. Туристы станут указывать на нас как на итальянских мальчишек-аборигенов». — Превозмогая свои недомогания, Кафка сказал: «И потом — как я выгляжу! Вхожу в зрелый возраст, называется. До сорока лет все буду как мальчик, а потом сразу превращусь в глубокого старика». — После вылазки на Лаго-Маджоре, за которой должны были последовать другие, записано: «Отклонено, поскольку два точно описанных (в дневнике) отеля с их вечерней элегантностью значат больше, чем двадцать увиденных бегло». — О растительности на этом озере: «Здесь потому можно строить такие высоченные виллы, что деревья достигают чудовищной высоты. Кафка: у нас такие растут в лесу и только в низинах. А тут наверняка есть и какие-нибудь гигантские персики». — «Стреза. Здесь виды потому так нам стали близки, что мы за два дня в Стрезе не видели ничего другого, кроме отеля и этих видов на пути в купальню». — Еще и двенадцать лет спустя он вспоминает о тех днях, потому что ему «так хочется тогдашней доверительности, что была между нами и какой мы уже не испытывали никогда больше после того итальянского путешествия». (Так он пишет мне в письме, посланном из Штеглица в октябре 1923 года.) Тоска по солнечному Лугано прорывается и еще в одном позднем его письме ко мне — на последней стадии его сокрушительной болезни. — В 1911 году все выглядело совершенно иначе, тогда еще была пора какой-то разлитой веселости, непосредственности, подтруниваний. Из Парижа 1911 года дневник сообщает: «Кафка говорит: „А теперь все по-быстрому. Не надо даже распаковывать чемоданы. У нас всего пять дней здесь. Только умоемся слегка и вперед“. Я так и поступаю, потом поднимаюсь к нему, а он намывается с мылом и мочалкой, и чего только не извлек из чемодана для полного комфорта, и куда-то он не пошел, пока не привел себя в полный порядок. А я так и не раскрыл чемодан». — В кафе «Риш» (Париж). Разговор с двумя неизвестными, говорящими по-немецки, о парижских девицах. Начав с энтузиазмом выкладывать свои знания и давать рекомендации, я вдруг спохватываюсь: могут ведь принять и за какого-нибудь агента известного заведения, за сутенера. Оба незнакомца делятся с нами своими наблюдениями. Теперь мы в свой черед готовы принять их за сутенеров. Переглянувшись, мы оба удаляемся без излишних раскланиваний. Франц говорит, что непременно принял бы их за прощелья, не производя ни сначала именно такое впечатление. — «Продавцы газет, такие крепыши вначале, слоняются теперь по улицам с нераспроданными экземплярами в руках с таким видом, будто увяли. Одного старика мы видели (в Милане) заснувшим в нише на углу с протянутой рукой, в которой оставалась на продажу газета. Мы хотели дать ему денег, но не решились будить. Но другой прохожий разбудил его пинком и вручил пять сантимов за газету, и оба громко рассмеялись». — От нашей поездки в Веймар летом 1912 года сохранились (среди многого прочего) следующие заметки: «Разговор о Грильпарцере. Богемско-саксонская Швейцария, которую я до сих пор презирал, после заступничества Кафки производит на меня хорошее впечатление». — Далее заметки о Дрездене, Лейпциге,

Томаскирхе. Формулировка «Памятник Баху не искали и не нашли» возникла, как мне кажется, под влиянием Франца. Как и следующая о доме Гёте в Веймаре, поскольку Кафка всегда с педантичностью относился к воздуху и освещению в кабинете и спальне: «Парадные комнаты превосходны. Однако в кабинете темновато (правда, деревья тогда были пониже), спальня крохотна и душновата». — О нежностях, связавших Кафку с дочерью управляющего в доме Гёте, я поведал в биографии Кафки. В дневниках Кафки об этом тоже есть сообщения. У меня в дневнике об этом сказано не без некоторого неудовольствия: «Кафка с семейством управляющего совершает прогулку в Тифурт. Вечером много всего рассказывает об этом». — На другой день дом Шиллера: «Устроили в нем эдакий музейчик. Книжечки там, комнатки. И даже два колечка, о которых экскурсоводша сообщает (кротким голосом), чуть ли не извиняясь: мол, приходится дорожить и такими пустяками». — Затем следуют многократные посещения дома Гёте, мы весь свой отпуск провели исключительно в Веймаре, правда, Кафка съездил потом ещё в Грац на несколько дней (у него отпуск длился чуть дольше). — «Разговор с мальчиком, который знает из Гёте только две вещи: 1. Рюбецаль и стекольщик, 2. Дионисий тиран». — «Кафку восхищают здесь все люди и то, как они мыслят и говорят. Может, мне не хватает спокойствия духа». Я привожу эти записи, чтобы показать, какая дидактическая аура исходила от Кафки, хотя он сам и не собирался никого поучать.

Присовокупляю здесь и список книг, который написал сам Кафка и который я нашел в своих бумагах. Прочитал ли он все тут перечисленные книги или только наметил прочитать, теперь уж не установишь. О некоторых я точно помню, что он их читал, к примеру — Шпейера.

Список таков:

Ландауэр «Письма о французской революции». «Лучшие русские письма».

Зигмунд Мориц «За спиной Бога».

Вильгельм Шпейер «Когда мы были счастливы», «Печаль времен года».

Винсент Ван Гог «Письма Эмили Бернар и Полю Гогену».

Артур Холичер «Путешествие по еврейской Палестине».

Уолт Уитмен, 2 тома.

Аннета Кольб «Экземпляр».

Теодор Хекер «Сатира и полемика».

Делакруа «Дневники».

26 января 1911 года (не во время путешествия) я записываю такой разговор с Кафкой: «„Мне, что ни день, хочется прочь с этой земли“, — сказал он. — „Чего же тебе не хватает?“ — „Да ничего, кроме меня самого“». — Работает он мало. После обеда спит или просматривает журналы в музее искусства. — На вопрос, отчего, собственно, он загрустил, отвечает: «У меня сотни неверных ощущений, самых ужасных. Верные никак не пробьются наружу, разве что едва-едва их слабенькие обрывки». — Потом мы приходим к заключению, что наша банальная профессия делает нас несчастными, потому что не оставляет времени на занятия искусством. Я уговариваю его, вполне наивно, все же не бросать литературный труд. «Постарайся, ладно?» Он не отвечает. И мешает тем самым продолжению доверительного разговора. Нередко он убегает в себя, видимо, ему это необходимо, я совсем не в обиде. Он держит дистанцию, минут десять молча идет рядом, не отвечая на мои вопросы. «Что же это за фальшь, которую ты ощущаешь?» — «Трудно сказать». — «Но если у тебя случаются тысячи таких фальшивых мыслей и ощущений, то хотя бы об одном из них ты бы мог мне сказать». Он снова молчит. — Еще одна моя запись: «Он не может решиться сделать самое простое — например, отослать рукопись (хотя Пауль Виглер, в то время редактор „Богемии“, его об этом просил) или ответить на письмо девушке, хотя бы открыткой. Потому что он все хочет сделать безупречно! Это меня в нем восхищает. Когда же ему что-нибудь подобное удастся, он счастлив, нахваливает себя без удержу — как и всех, кто чего-то добивается в практической жизни, причем так, будто они совершают геройство. Какое-то время он не хотел ничего другого, как экономить. Страшно радовался (или делал вид), когда кто-нибудь платил за его кофе. Конечно, то была только игра. В действительности он был необыкновенно щедр на подарки, что, к примеру, доказал, подарив мне на свадьбу двадцать томов словаря Мейера, а кроме того, и множество дорогих книг (Стефан Георге, экземпляр шикарного нумерированного издания Гофмансталя и т. д.)».

Однажды я отметил, в какой восторг он пришел от «Подростка» Достоевского и как он с пафосом, громким голосом прочитал мне начало пятой главы — то место, где герой излагает свой парадоксально-фантастический план обрести богатство, описание нищего на волжском пароходе и т. д. — Кафка среди всех писателей нашего столетия, безусловно, один из самых самостоятельных и своенравных (если понимать своенравие как собственный норв). Но эта история с пятой главой указывает на то, сколько всего дал ему метод Достоевского.

Особенное влияние оказал на Кафку, далее, и том китайской лирики (в немецком переводе Ганса Хайльманна), вышедший в издательстве Пипера в качестве первого тома серии «Ваза с фруктами». Содержащийся там простой прозаический подстрочник дает, надо полагать, гораздо более точное представление о предмете, чем искусственные рифмованные переложения Клабунда, Эрэнштайна, Демеля и других поэтов, особенно же посредственные тексты Бетге, к сожалению использованные Густавом Малером в его «Песне о земле». Я весьма сожалею, что этот столь важный том Ганса Хайльманна давно распродан и никогда больше не переиздавался. Кафка очень любил эту книгу, временами предпочитал ее всем другим и то и дело с восторгом читал мне что-нибудь из нее вслух; а в конце концов он мне ее и подарил. Она и сегодня содержится в моей библиотеке. — Его радость началась уже с первых страниц этой книги, с введения, из которого он любил приводить мне простоватые, еще не «зализанные» другими переводами строки:

Луна прекрасна, прекрасна, сидишь одиноко,

Впереди у крыльца две сосны.



С юго-запада дуют тихие ветры —

и так далее.

Потом и из самой книги древняя «Песнь неизвестного поэта»: «Готовлюсь к борьбе». Она начинается так: «Восстань, жена, воткни свою длинную спицу в розовое шитье и принеси мне мое оружие». Потом в четырех стихах описывается это оружие, которое жена возлагает на мужа: мечи, копья, лук и стрелы. А под конец Кафка с неподражаемой театральной наивностью разыгрывал все в миметической сценке: «А теперь трепещи и беги — ибо с таким ужасным лицом я иду на врага!»

Любимыми стихами Кафки были строфы из «Человека деяний» Ли Тайпи, из «Трех жен мандарина» Сао Хана, а также стихотворение Су Тонгпо «Баклан» («А по ночам, когда на воде сияет луна, баклан, стоя на одной ноге в воде, предается своим размышленьям. Так и человек, лелея в сердце любовь, все кружит и кружит вокруг одной мысли»). Но более всего Кафка любил стихотворение Ян Ценця «Глубокой ночью», окончание которого он читал обычно одновременно и с драматической эмфазой, и юмором:

Холодной ночью я за книгой забыл о том, что давно

пора спать.

Аромат на моей постели давно улетучился,

камин не горит больше.

Красивая подруга моя, устав ждать,

в гневе вырывает у меня лампу

И спрашивает меня: ты хоть знаешь, как сейчас поздно?

Есть в этой книге еще немало стихов и строк, которые Кафка очень любил, и эта любовь говорит о своеобразии писаний Кафки больше, чем любые многомудрые рассуждения. С каким чувством, чуть ли не со слезами он декламировал трогательные стихи «О верной супруге». Приходилось опасаться, что голос его предательски дрогнет на строках окончания («Отчего я не знал вас, когда еще был свободен!»). С неподражаемым подъемом и пафосом Кафка произносил и стихотворение Ду Фу, обращенное к Ли Тайпи: «Тебя именуют неиссякаемым водопадом капель — и ты подобен посланцам небес», особенно финал, где говорится о том, как поэт рисует кисточкой на бумаге, и потом это: «А когда песнь исполнена, вокруг тебя слышится чудный шепот бессмертных духов». То, как Кафка произносил эти строки, до сих пор стоит у меня в ушах; можно было прямо-таки видеть, слушая его низкий медленный голос и глядя на его воздетую руку, как вокруг поэта восседают, дивясь ему, духи. — Кафка вообще любил те места, где один великий дух воздает должное другому. С какой растроганностью он читал мне отрывок из воспоминаний Достоевского о том, как к нему, совершенно еще неизвестному писателю, вторглись под утро Григорович с Некрасовым, чтобы поблагодарить за повесть «Бедные люди». — А чтобы завершить мои «китайские» воспоминания, упомяну еще, что он по временам выше всех ставил Ду Фу, вероятно, из-за сильной ноты социального сочувствия и воинственного духа. Думаю, что не ошибусь, отметив строки Ду Фу, в которых я вижу ключ к «Императорскому посланию» Кафки:

Северные горы содрогаются от грохота барабанов.

На западе все дороги запружены всадниками

и колесницами, Даже императорским посланникам нет проезда.

Разумеется, можно при этом вспомнить и множество других китайских мотивов у Кафки.

В своих записях 1930 года я нахожу фрагмент, который я тут приведу, чтобы показать, какие формы приобрел в моем сознании облик друга через пять лет после его смерти, хотя для меня, конечно, он навсегда остался живым. Представления о нем продолжают во мне, естественно, развиваться — без всякого пересмотра того фундамента, что сложился в самом начале.

«В новогоднюю ночь 1930 года он мне приснился. Он сказал мне: „Великая иллюзия — в этом отношении жизнь действительно совершенна“. Я много раз просыпался, чтобы получше, понадежнее запомнить эти слова. В полудреме они казались мне полными необыкновенного смысла, который теперь от меня ускользает. В самом сне я жалобно возразил: „Но ведь наша дружба не была иллюзией?“ Тень исчезла. Во сне же я сказал своей скептически настроенной жене: „Я ни в чем так не уверен, как в том, что снова увижу Кафку“. Позднее мне приснился человек с большим, туманно-белым лицом, он был закутан в темный плат, ноги полностью растворялись в темноте. То не был Кафка, но человек был с ним как-то внутренне связан. Он был со мной очень любезен, говорил в манере некоторых старцев, мудро и ласково, с глубоким пониманием. Кто-то из тех, кого нет больше на земле. Я жаловался, что мне приходится много работать, из-за чего я и несчастлив. Он покачал головой (как Ахилл в „Одиссее“), словно давая понять, что и тяготы жизни нужно принимать как неизбежность. Я: так, стало быть, там очень скучно? Он улыбнулся мне как ребенку: вовсе нет, дел, и самых разных, хватает. Я: разве не все делают там одно и то же? Существует иерархия? Он: и мы напрягаемся, хотя и противоположно тому, что делают люди, — в сторону молчания. И тут много ступеней. Наибольшая радость для нас — глас, полный духов. — Смысл этих последних слов я, просыпаясь, утратил. А он много говорил о „радовании гласу“. — И еще я сказал: „Переход от посюстороннего существования, должно быть, ужасен. Ни помощи, ни совета“. Это он подтвердил. Особенно подчеркнув, что кости черепа давят на мозг, когда душа (после смерти) высвобождается из тела. Я подумал: в этой ситуации мне поможет Кафка. Потом я засомневался. Ведь Кафка нередко оставлял человека в опасной ситуации одного, из педагогических соображений — например, во время плавания или катания на лодке. Помогите себе сам — как будто говорила тогда лукавая мина на его лице. — С этим я и проснулся».

Примечания



Соученик и приятель Кафки Эдвальд Пржибрам, часто упоминаемый в письмах. Некоторыми его чертами явно наделен образ оппонента в «Описании одной борьбы».

(обратно)

Рассказ «Экскурсия в темно-красное» был опубликован в 1909 г. в Берлине.

(обратно)

Я напечатал в берлинском еженедельнике «Современность» (09.02.1907) статью, где воздал должное стилистическому мастерству Кафки, который тогда еще ничего не опубликовал.

(обратно)

«Эксперименты» — один из первых сборников моих рассказов (Штутгарт; 1907). В одном из персонажей (Карус в рассказе «Остров Карина») там изображен Кафка, каким он тогда мне представлялся.

(обратно)

«Опалы» (1907) и «Аметист» (1906) — журналы, которые издавал Франц Блай.

(обратно)

Кафка сделал набросок рисунка для моей книги «Путь влюбленного» (Штутгарт, 1907). Первоначально книгу предполагалось назвать «Эрот».

(обратно)



Несколько стихотворений, которые Кафка нашел в каком-то другом журнале и послал мне вместе с письмом в качестве «компенсации».  
(обратно)

Комотау у подножия Рудных гор, где я одно время служил в окружном финансовом управлении. «Зеленая скатерть на столе» — об этих же местах.

(обратно)

Обычное медицинское обследование перед окончательным зачислением на службу.

(обратно)

Переулок, где я тогда жил.

(обратно)

«Богемия», 11.04.1909, поздней в «Дневнике в стихах», Берлин, 1910.

(обратно)

Деревня в окрестностях Праги. Описание совместной прогулки: «Цирк за городом». Шаубюне, 1 июля 1909 г.

(обратно)

Роман, над которым я работал несколько лет, но так и не закончил.

(обратно)

Милада — имя героини романа.

(обратно)



Замужество сестры Элли.

(обратно)

Ахлейтиер Артур — баварский поэт.

(обратно)

Беер Арнольд. Судьба одного еврея. Берлин, 1912.

(обратно)

«Смерть мертвецам!». Штутгарт, 1906.

(обратно)

«Высота чувств. Сцены, стихи, утешения». Лейпциг, 1913.

(обратно)

«Ежегодник» — см. коммент. 23 за 1913 г. к «Дневникам».

(обратно)

«Биллинг» — см. мою «Биографию Кафки» (Франкфурт-на-Майне, 1954), с. 147 и далее.

(обратно)

«Понятие» — Макс Брод и Феликс Вельч. «Взгляд и понятие. Основы системы образования понятий». Лейпциг, 1913.

(обратно)



«Америка».

(обратно)

Для журнала «Бетрахтунг».

(обратно)

В восьмом номере «Гипериона» за 1909 г. — «Разговор с нищим» и «Разговор с пьяным». (Теперь входят в книгу «Рассказы».)  
(обратно)

«Ричард и Самуил» — см.: «Рассказы», с. 296 и далее, а также «Приготовления к свадьбе в деревне». Франкфурт, 1953. С. 429 и далее.  
(обратно)

Без ведома моего друга я показал копию этого письма (без приписки) его матери, потому что всерьез опасался за жизнь Франца. Ответ матери и другие факты, важные для понимания ситуации и дополняющие «Письмо к отцу», см. на с. 113 «Биографии».

(обратно)

От Ф. Б.

(обратно)

Штёссингер Феликс (Прага) — работал в Вене и Берлине, а последнее время в Цюрихе, где и умер в 1954 г. Он решительно выступал в поддержку позиции Арно Наделя. Его книга «Переворот в мировой политике» представляет собой памятник жизни и идеям Йозефа Блоха, издателя «Социалистического ежемесячника». Последняя значительная работа Штёссингера — гейневская антология «Мое драгоценное завещание».

(обратно)

«Путь Тихо Браге к Богу». Лейпциг, 1916.

(обратно)



«Прощание с юностью». Романтическая комедия в трех действиях. Берлин, 1912.

(обратно)

Хаас Вилли. Благовещение и Поль Клодель. Бреннер, 1 июля 1913 г.

(обратно)

Великий писатель Роберт Музиль после выхода в свет «Созерцания» стал почитателем Кафки.

(обратно)

Жена аптекаря в Праге, хозяйка литературного салона, в котором часто бывал Кафка.

(обратно)

«Преобразование».

(обратно)

Ежемесячник, выходивший с сентября 1913 г. в Лейпциге. Издавался сначала Э. Э. Швабахом, с 1915 г. — Рене Шикеле. «Превращение» появилось в октябрьском номере за 1915 г.

(обратно)

«Новые христиане» — замысел одного из моих романов.

(обратно)

Город и монастырь премонстрантов близ Мариенбада.

(обратно)



По инициативе Кафки его невеста принимала участие в воспитательной работе «Еврейского народного дома», из которого позднее возникла детская деревня Бен-Шемен (учебная деревня) в Палестине.

(обратно)

Я уведомил Кафку, что, по сообщениям газет, в Мариенбад прибыл бельцкий раввин, глава хасидов. Кафка (об этом свидетельствует и его дневник) испытывал ко всему, что касалось хасидов, своеобразное чувство: смесь восхищения, любопытства, скептицизма, одобрения и иронии. Он тотчас обратился к нашему общему другу Георгу Мордехаю Лангеру, необычному одинокому человеку, который родился и получил воспитание в Праге, в духе западноевропейской культуры, но много лет прожил как настоящий хасид при «дворце» «бельца». Его братом был уже упоминавшийся в письмах поэт Франтишек Лангер. Г. М. Лангер писал по-немецки и по-чешски на темы каббалы, кроме того, выпустил две книги еврейских стихов. Одно из стихотворений — элегия на смерть Кафки. В 1939 г. Лангер сумел ускользнуть от нацистов из Праги, с невероятными мучениями добрался на немецком судне до Палестины, где прожил еще некоторое время, но потом сказались последствия пережитого в пути, и в 1943 г. он умер.

(обратно)

Правильно: габаим.

(обратно)

Врач, фабрикант в Варнсдорфе, который пробовал консультировать Кафку.

(обратно)

«Юдишес эхо» — газета, которую издавал Мета Мах с 1914 г.

(обратно)

«Царица Эсфирь». Драма в трех актах с прологом. Лейпциг, 1918.

(обратно)

См.: «Приготовления к свадьбе в деревне», с. 154 и далее.

(обратно)

«Дер юде» — ежемесячный журнал, издававшийся с марта 1916 г. Мартином Бубером.

(обратно)



Райхенбергер — дирижер Венской придворной оперы, который «улучшил» мой перевод; несмотря на мои протесты, он был напечатан с этими поправками. Некоторые особенно безвкусные места мне после жестокой борьбы все-таки удалось потом убрать.

(обратно)

Философ Макс Шелер.

(обратно)

Писатель Ханс Блюер.

(обратно)

Венский психоаналитик и философ Отто Гросс.

(обратно)

Манн Томас. Палестрина. — «Нойе рундшау», октябрь 1917 г. 2 Намек на пражского поэта неоромантического направления Хуге Салусе.  
(обратно)

«Акция» выходил с 1911 г.

(обратно)

Брод Макс. Марш Радецкого. — «Акция», сентябрь 1917 г.

(обратно)

Х. Тевелес писал под псевдонимом Боб для «Прагер тагблатт».

(обратно)



Ку Антон — венский фельетонист.

(обратно)

Дама — Ида Бой-Эд; книга называется «Мученичество Шарлотты фон Штайн. Попытка ее оправдания». Штутгарт, 1916.

(обратно)

Во Франкфурте состоялся литературный вечер; я попросил Кафку участвовать в нем.

(обратно)

«Ди юдише рундшау» — журнал, который издавали Ханс Клецель, затем Роберт Вельч с 1896 г.

(обратно)

«Отчет для Академии».

(обратно)

Поэт Рудольф Фухс.

(обратно)

«Даймон» — двухмесячник, который издавал Карл Мут с февраля 1918 г.

(обратно)

«Донауданд» — ежемесячник, который издавал Карл Мут с октября 1917 г.

(обратно)



Блюэр Ханс. Роль эротики в мужском обществе. Том I.

(обратно)

«Марсиас» — двухмесячник, издатель — Теодор Таггер (Фердинанд Брукнер), выходил с осени 1917 г.

(обратно)

«Анбрух. Листовки своего времени». Издатели Отто Шнайдер и Людвиг Ульмен. Вскоре, с конца 1917 г., прекратил существование.  
(обратно)

Фёрстер Фридрих Вильгельм — педагог и пацифист

(обратно)

Трельч Эрнест. Лютер и протестантизм. — «Нойе рундшау», октябрь 1917 г.

(обратно)

Персонаж из книги Макса Брода «Большой риск». Мюнхен, 1920.

(обратно)

«Затонувший колокол» — драма Герхарта Гауптмана.

(обратно)

Ольга и Ирена — персонажи «Евреек» Макса Брода.

(обратно)



«Королевское послание».

(обратно)

Пфемферт Франц — издатель «Акциона».

(обратно)

Кафка ошибся. Книга вышла в Штутгарте (издательство «Аксель юнкер», 1905).

(обратно)

Адлер Пауль — поэт, живший тогда еще в Хеллерау, принципиальный противник военной службы. Друг и пропагандист Теодора Дойблера, постоянный собеседник Якоба Хегнера.

(обратно)

«Наши литераторы и община». — «Дер юде», октябрь 1916 г.

(обратно)

«Язычество, христианство, еврейство», над которой я тогда работал.

(обратно)

Намек на сон, в котором меня мучили еврейские и сионистские катастрофы. Тогдашнее положение в Палестине было критическим.  
(обратно)

Юлия Вохрыцек.

(обратно)



Брод Макс. Третья фаза сионизма.

(обратно)

Вероятно, имеется в виду драма «Фальсификатор».

(обратно)

Процесс об убийстве против графини Тарновской, привлекая к себе тогда широкое внимание. Пауль Виглер — известный историк литературы и эссеист. Вилли Хандль — театральный критик, а также автор странного и мастерски написанного романа «Пламя». Оба некоторое время были редакторами пражской немецкой газеты «Богемия», в которой Кафка, вероятно, и читал заметки об этом сенсационном процессе.

(обратно)

Первое упоминание о Милене Есенской.

(обратно)

Адресат, по всей видимости, «молодая девушка», которую упоминает в конце своих воспоминаний Дора Гефит (см. «Биографию», с. 332): «Он оберегал, заклинал, учил ее отдаться в будущем работе и связывать все надежды на улучшение с деятельностью и достижениями». Кафка познакомился с Минце Э. в маленькой деревне Шелезен в Северной Богемии, где он часто бывал. Здесь речь идет о его пребывании зимой 1919/20 г. в пансионате Штюдль, в котором находилась после долгой болезни и Минце Э.

(обратно)

Здесь три строки зачеркнуты Кафкой, прочесть их невозможно. С этим связана следующая строка.

(обратно)

Один из персонажей новеллы «Остров Карина» (1907) изображает Франца Кафку, каким он мне тогда представлялся.  
(обратно)

«Песнь песней» — глава в книге «Язычество, христианство, еврейство».

(обратно)



Воспоминание о моих уроках для детей беженцев во время мировой войны. Кафка по возможности на них присутствовал.  
(обратно)

Дворжак Арно. Народный король. Драма в пяти действиях. Перевод на немецкий Макса Брода. Лейпциг, 1914.

(обратно)

Систематизированный свод еврейских ритуальных правил и еврейских законов, составленных Йозефом Каро (1564).

(обратно)

«Реубени — князь евреев. Ренессансный роман». Мюнхен, 1925.

(обратно)

«Адольф Швайбер — судьба музыканта». Берлин, 1921.

(обратно)

«Книга любви». Мюнхен, 1921.

(обратно)

«Поездки Демеля в Альпы». — «Нойе рундшау», декабрь 1920 г.

(обратно)

Партийная газета чешских аграриев, не упуская случая продемонстрировать свой антисемитизм.

(обратно)



Первое упоминание о Роберте Клопштоке. Кафка познакомился с Клопштоком, молодым студентом-медиком, впоследствии доктором и выдающимся исследователем, в санатории «Матлар» в Татрах (Таранске Матлиари). Началась дружба, продолжающаяся до смерти Кафки. Клопшток вместе со спутницей последних лет жизни Кафки Дорой Диамант (Димант) ухаживал за другом в санатории Хоффмана в Кирлинге близ Вены и оставался с ним до его последнего дня.

(обратно)

Противник «ложного Мессии» Давида Рейбени.

(обратно)

«Франци, или Любовь второй степени». Роман. Мюнхен, 1921.

(обратно)

Брод Макс. Борьба за еврейство. Вена, 1920.

(обратно)

Мой друг, гениальный музыкант Адольф Шрайбер, покончил с собой в Ваннзее.

(обратно)

«Баязет» Расина. — «Прагер абендблатт», 15. 04.1921.

(обратно)

Венский поэт Альберт Эренштейн был одним из первых за пределами Пражского кружка, кто понял значение Кафки.  
(обратно)

Краус Карл. Литература, или Еще посмотрим. Магическая оперетта. Вена, 1921.

(обратно)



Это высказывание Кафки о языке станет понятнее, если иметь в виду, что оно описывает специфическую ситуацию. Оно касается определенных литературных явлений в Вене, Праге и Берлине; ср. «Вера и учение Франца Кафки», с. 77–80.

(обратно)

Кафка опять жил у своей сестры Оттлы, на этот раз в чешской деревне.

(обратно)

«Первое страдание». В мае 1922 г. Кафка прислал этот рассказ Курту Вольфу для публикации в «Гении».

(обратно)

«Сметана», «Тайна». — «Прагер абендблатт», 23. 06. 1922, Стриндберг. Злая женщина *Королева Кристина*. — «Прагер абендблатт», 27. 06. 1922, «Философия» — «Философия привета». — «Прагер абендблатт», 26.06.1922.p>

(обратно)

Кайзер Рудольф — редактор «Нойе рундшау». Письмо связано с рассказом Кафки «Голодарь», который появился в «Нойе рундшау» в октябре 1922 г.

(обратно)

Прейсова Габриела, по драме которой Яначек написал либретто к своей опере «Енуфа».

(обратно)

Виндер Людвиг — автор романов «Кнут», «Наследник», «Долг».

(обратно)

Знаменитый чешский скульптор.

(обратно)



Бенешау расположен недалеко от Праги.

(обратно)

«Поттзах и Перльмуттер». — «Прагер абендблатт», 28.06.1922. «Арена» — «Смиховская арена». — «Прагер абендблатт», 6.07.1922.

(обратно)

«Лебединое озеро». — «Прагер абендблатт», 11.07.1922. Критическая статья о постановке балета Чайковского в Чешском национальном театре.

(обратно)

Речь идет о «Еврейской школе», основанной пражскими сионистами. Старшая сестра Кафки Валли произнесла на упомянутом родительском собрании важную речь в духе идей своего брата.

(обратно)

Часть рукописи «Замка».

(обратно)

Фон дер Лейен Фридрих. Немецкая поэзия нового времени. Йена, 1922.

(обратно)

Я написал Кафке, что старый господин Вельч (отец Феликса Вельча) поведал мне, с какой гордостью и горящими глазами отец Франца рассказывал о сыне.

(обратно)

Халуц — пионер.

(обратно)



Брод Макс. Женские образы Герхарта Гауптмана. — «Нойе рундшау», ноябрь 1922 г.

(обратно)

Йоринда — персонаж «Жизни с богиней».

(обратно)

Шмидтбонн Вильгельм. Граф фон Гляйхен. Пьеса. Берлин, 1908.

(обратно)

Речь идет о романе «Печаль времен года» (Берлин, 1922) писателя Вильгельма Шпейера, которого Кафка вообще ценил.  
(обратно)

Геррнгутеры — члены религиозной секты в Богемии.

(обратно)

Верфель Франц. Молчальник. Трагедия в трех действиях. Мюнхен, 1922.

(обратно)

Крупный поэт еврейского рабочего движения в Палестине. Для его рассказов характерно глубоко пессимистическое настроение, что, однако, не ослабляет его созидательной воли. Он погиб во время беспорядков 1921 г., отражая арабское нападение в окрестностях Тель-Авива.

(обратно)

Музиль Роберт. Винценц, или Подруга знаменитых людей. Шутка в трех действиях. Берлин, 1924.

(обратно)



«Процесс Бунтербарта». Пьеса, Мюнхен, 1924.

(обратно)

«Евреи в немецкой литературе. Эссе о современных писателях». Издал Густав Кроянкер. Берлин, 1922.

(обратно)

«Гастроли Эрнста Дойча». — «Прагер абендблатт», 10.01.1924 (Предисловие к «Молчальнику» Верфеля).

(обратно)

«Театр Пойрета». — «Прагер абендблатт», 07.12.1923.

(обратно)

Вайс Эрнст. Испытание огнем. Роман. Берлин, 1933.

(обратно)

«Певица Жозефина и мышиный народ» — этот рассказ и еще три других Кафка предложил в 1923 г. берлинскому издательству «Шмиде». Книга под названием «Голодарь» появилась уже после его смерти, но корректору он получил в Кирлинге. Корректурa первых полос была последней работой, которую он сделал.

(обратно)

Франц Верфель. Верди. Роман оперы. Берлин, 1924.

(обратно)

Д-р Зигмунд Блау, в то время главный редактор «Прагер абендблатт», один из первых почитателей Кафки. Он был родом из Вены и пользовался там большим влиянием.

(обратно)



Только что я получил его из дома, с доставкой, кажется, наладилось.

(обратно)

Книжный магазин в тогдашней Праге, через который я послал книгу (не помню какую).

(обратно)

Комментарии

1 Поскольку Кафка в основном не датировал своих писем, даваемая в квадратных скобках датировка писем, как и само их хронологическое расположение, принадлежит Макс Броду. Прим. ред.

2 «Полковник Артур Буше: „Франция — победительница в завтрашней войне“. Автор, бывший начальник штаба, показывает, что, если Франция подвергнется нападению, она сумеет защитить себя с абсолютной уверенностью в победе» (фр).

3 По-немецки названия звучат совсем схоже: «Goldenes Schlo?», «Goldene Schussel», «Goldener Schlüssel». — Прим. перев.

4 По-немецки «seh' — steh'» (т. е. возможна опечатка).

5 Еще приписка: Впрочем, мои планы (за спиной заведения) еще великолепнее, чем ты думаешь: до марта — здесь, с мая — в Смоковец, на лето — Гримменштайн, а на осень — не знаю.

6 «Хозяин там еврей, но дело он ведет превосходно» (чешск.).

7 Здесь несколько слов Кафкой зачеркнуто.

8 Проклятое отродье! (чешск.)

9 «А Вера ловкая» (чешск.).

10 «Великан» (чешск.).

11 «Когда вы пришли, вы были бледный как смерть» (чешск.).